

Город как роман. Мифы и Легенды Санкт-Петербурга

НАТАЛЬЯ НЕЧАЕВА

ПОСЛЕДНИЙ ИЮЛЬ ДЕКАБРЯ



ПЕТЕРБУРГСКАЯ
МИСТЕРИЯ

Город как роман. Мифы и легенды Санкт-Петербурга

Наталья Нечаева

Последний июль декабря

«РИПОЛ Классик»

2016

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Нечаева Н.

Последний июль декабря / Н. Нечаева — «РИПОЛ
Классик», 2016 — (Город как роман. Мифы и легенды
Санкт-Петербурга)

ISBN 978-5-386-08404-2

Роман «Последний июль декабря» построен на легендах и былях Петербурга. Противостояние темных и светлых сил, добра и зла, духов света и тьмы, населяющих петербургские земли с незапамятных времен. Мосты и реки, каналы и канавки, мостки. Дома, проулки. Люди. И люди-призраки. Сфинксы, грифоны, сущности... Санкт-Петербург, как роман. Эхо прошедшей Империи. Мифология Санкт-Петербурга...

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-386-08404-2

© Нечаева Н., 2016
© РИПОЛ Классик, 2016

Содержание

Крылатый пес	6
Академическое утро	12
Тайна Цверга	21
Зов Атакана	30
Отель Трезини	37
Ночь Красной Луны	46
Всадник тумана	54
Конец ознакомительного фрагмента.	58

Наталья Нечаева

Последний июль декабря

© Нечаева Н. Г., 2016

© ООО Группа Компаний «РИПОЛ классик», 2016

Крылатый пес

Собака шла, равнодушно помахивая крылом. Пропадая в тени и вновь возникая в ломаном свете фонарей, странное трехногое создание ничуть не тяготилось отсутствием четвертой конечности, ладно и привычно используя для опоры перьевое полукружье.

Крыло впархивало и опадало, перламутрово отражая ленивую зыбкость освещения. Там же, где желтые лучи вдребезги разбивались о мутные зеркала луж и застывали в воздухе испуганными блестками, перья обретали совершенную прозрачность, прорисовываясь лишь волнистым контуром, пропуская сквозь себя шершавую неровность парашюта, любопытные человечьи ноги, вопросительный знак поводка.

Хозяйка пса шествовала чуть сзади, ведомая собакой. Уходя в тень, становилась старой, морщинистой, сухой, с провалами щек, глаз, рта. Выплывала же на свет вполне молодой особой – торчащий подбородок, легкий прищур, рассеянная улыбка привыкшей к вниманию красавицы.

Рядом со странной парой на набережной то и дело образовывались парочки и целые группки гуляющих. Смутно просматривались силуэты, безликие пятна лиц. Ни пола, ни возраста, ни настроения не различалось вовсе. Зато собака и женщина выделялись ясно, четко, до неровно выстриженной бородки на нагловатой мордахе пса или тонкой родинки на виске хозяйки.

Еще больше поражало, что крылатая собака не вызывала у окружающих никакого интереса. Вот кто-то приостановился, погладил животное и пошел дальше, ничуть не озабочившись крылом.

Получается: крыло – чудится?

Приехали. Догулялась. Допереживалась. Глюки пошли, словно Ромкиных грибов хватанула... Крыло у собаки... Дура! Скорей бы мост свели, домой, спать. Сколько она уже не спит? Сутки? Двое? Неделю?

* * *

Дождь кончился, и под Биржевым мостом открылись пять голубых тоннелей. Входы. Внутри – сияние. Внутри – ясное небо. Такое случается в солнечный день, когда от счастливого восторга дрожат руки, вспоминая, как были крыльями, и до крика хочется воспарить, и совсем не жалко раствориться прозрачным лучом в этой зовущей вышине.

Есть ли движение вокруг, нет ли – не видно. Свет, выплескивающийся из реки, приклеил глаза и задавил все прочее – над, справа, слева – вокруг. Или и нет больше ничего? Арка моста да входы под ней.

Прищурь глаза, и тоннели выстроились в цепочку теплых надежных валунов, соединяющих берега. Брод. Мост-то разведен, вот Нева и постаралась. Надо на тот берег – милости просим! Дойдешь ли – вот вопрос. Самих берегов не видно: синие лезвия лучей, выстреливающие из тоннелей, разваливают темноту на тягучие неровные ломти. Темнота осыпается в воду и уходит на дно, утаскивая с собой блескучее крошево. По дну оно приплывает к безднам и вновь сливается в лучи. Круговорот.

От света, сияния и голубизны над водой – вполне осязаемый звон. Он заполняет уши, забирается под ногти, делает колким и невесомым тело. Будто бы кто-то зовет, будто манит. Кто-то...

Кто?

Рома?!

Конечно! Прислушаешься и —

«Юля-я...» — мелкие волны ладошками шлеп-шлеп...

«Юля-а-ша...» — гранит на них шикает...

Придумал! Значит, и входы — Ромкина работа? Чтобы не плутала понапрасну, а поняла, как его найти?

Входы. Выйдешь ли — войдя? Выходы где-то на той стороне. То ли моста, то ли мира... А зачем выход, если там — Рома?

Сегодня у него день рождения. Праздновали бы вместе тут, у воды. Она обещала испечь праздничный пирог...

Вот он, тот самый праздничный пирог — зализанная ласковой Невой Стрелка. Ночь завистлива. Задула свечки Ростральных колонн, теперь они обиженно дожидаются рассвета. Рядом взъерошил серебряные крылья Дворцовый, будто приготовившаяся к полету гигантская птица.

Обман, каждую ночь — обман! И пирог несладкий, и птице этой никогда не взлететь — разучилась.

За спиной — город. Не поворачивайся — не увидишь. Не увидишь — не захочешь назад. Одна дорога — через эти синие переходы к Роме.

Рома. Больно! Произнесешь имя, тут же дернет, будто нагноившаяся заноза на пальце, только палец — она сама. Вся. Поэтому боль отдается сразу везде. И мешает думать. И дышать. И жить.

Времени темноты — два часа. Потом — день без него. Зачем?

Рассвет скрадет голубое сияние, выровняет воздух, высосав из него до небесного доньшка таинственную ночную силу. И бездны-входы погаснут. Останется пустота. Надо решаться сейчас.

— Юля-а-а!

Вокруг — никого. Ладонями — в шершавый гранит парапета, приподнять тело, перебросить ноги и просто шагнуть. Нет, лучше прыгнуть, чтоб не шлепнуться в воду, а сразу попасть в один из входов. Парапет широкий. Если разбежаться, можно допрыгнуть.

— Стой!

Чей это голос? Да и голос ли? Мерещится. Верно, просто волны шуршат или мелкая пыль шепчется под ногами... А будто голос. Знакомый, много раз слышанный, хоть и забытый. Строгий, заботливый.

— Сойди с парапета! Сию секунду!

— Сошла, — оробев, неизвестно кому доложила Юля.

— Его здесь нет. И не пытайся идти, пока не узнаешь путь!

Недовольными песчинками просыпался из тела вибрирующий звон, пригласло манящее сияние бездн, обратившись в скучное отражение мостовой подсветки, прорисовались темные берега.

Все правильно, Ромы тут нет. И прыгать в воду — бессмысленно. Искать — да, надо, но не здесь.

Как вдруг она это поняла? Откуда? Только что — неизвестность и маета, и вот — безо всякого перехода. Как жирная точка в конце предложения. Не со слов же какого-то непонятного голоса! Голос, ясно, она сама. Разум или что там еще руководит человеком? Второе я, что умнее и рассудительнее первого. Помогает. Кто еще поможет? Одна.

Одна? Но одиночества, что глодало и сушило в Москве, от которого выла в голос, заглушая себя музыкой, и в помине нет! Тоска по Роме — да. Черная, колючая. Все внутри раско-рыбала, аж саднит. Губам горько, оближешь — тошнит, как анальгин жуешь. Глаза все время влево, на Рому, рука сама пальцы растопыривает, чтоб с Ромиными сплестись. А — пустота. Под пальцами и перед глазами.

В Москве она бы уже умерла. Чужая среди чужих – стен и людей – точно бы умерла. А тут – дома. Всякий шпиль над Невой, всякий мост и канал, и сад, и решетка – все знакомо, все на своих местах. Как мебель в квартире, которую сам расставил. Чтоб удобно. И красиво. Дома любую потеряшку найти можно. И Ромка найдется. Город поможет.

* * *

Этот июль вернул ей то, что украли два года Москвы.

Город.

До щекотки в кончиках пальцев, до счастливых мурашек под мышками. Вдруг стали осязаемыми холодные и теплые течения невской воды, сумеречно-радостные или кричаще-кичливые краски небосвода, потайное движение любопытного воздуха, мельтешенье в нем, прозрачном и тугом, миллионов и миллиардов чьих-то мыслей, вздохов, улыбок, эмоций – чувств. Она сама, распавшаяся на молекулы, стала этим воздухом. Смехом и слезами, мостами и реками, солнцем и темнотой, домами и тротуарами. И даже ногами, спешащими по этим тротуарам. Если мизинец цеплялся за чью-то улыбку, она радовалась, и – наоборот – печалилась, вдруг споткнувшись о чье-то горе, вросшее в щербинку асфальта. Город, потерянный на два бесконечных года, заново входил в нее, и она множилась в нем, становясь частью целого, познавая через себя – его. Ежесекундно растворяясь в нем, не теряла ни крошечки, напротив, наполнялась его силой, становясь настоящей собой, вбирая его в себя и становясь им.

– Мы ведь найдем Рому? – утвердительно спросила она.

Великан в зеленоватом старинном мундире, долговязо вышагивающий по ту сторону Невы за стенами Петропавловки, приостановился на мгновение, стащил с черноволосой растрепанной головы смешную растяпистую треуголку, церемонно раскланялся, соглашаясь, и шагнул дальше, сливаясь с такой же высоченной стремительной колокольной.

Хозяин. Будет ходить до утра, охранять город. Сколько лет прошло, а он все тревожится. Люди смотрят – собор. И никто не догадывается, что в его тени – Петр. С высоты ему видно все – каждый уголок, каждого человека. Интересно, когда орел на плечо сел, он испугался? Вряд ли. Ничего не боялся. Иначе – не стал бы на болотах строить город. Говорят, орлы тут не водятся. И никогда не водились. Тот, залетный, случился чудом. А город разве не чудо? Может, орлы и сейчас прилетают, только не видит их никто. Не дано. И не орел то был, а дух, знак...

Свернула на Менделеевскую линию и тут же споткнулась: по той стороне набережной, вдалеке, неспешно трусил забавный крылатый пес...

Орлиное, – вдруг осенило. Крыло у пса – орлиное. Того самого орла!

Мысль, явившаяся следом, обожгла и стреножила: третий раз! Она их видит третий раз! Дважды – сегодня и тогда, раньше. Здесь же на набережной. Еще до Ромы. До войны. С Ромой-то познакомилась, благодаря этой собаке. Значит, не глюк?

Догнать!

Увы, под плавающими фонарями Университетской уже никого не было. Ни тут, против Двенадцати коллегий, ни дальше, у Бетанкуровской гранитной террасы, ни вдали, на пузырчатой брусчатке грузового спуска, хорошо освещенного космическими огнями припаркованной белоснежной «Ракеты».

Девушка медленно побрела вперед. Притормозила у филфака: тут она будет учиться. Совсем скоро. Почему-то это перестало радовать. Так, констатация свершившегося. Не более.

* * *

Густой кустарник вдоль тротуара сбрасывал наземь остатки недавнего дождя, расправляя листья и ветви. Капли сладко шлепались и, шепча что-то запретное, ласковое, втягивались в землю. На этой стороне набережной не было ни души. Через дорогу у берега – просто народное гулянье, тут – другой мир.

В Москве в такое время – скоро три – она никуда бы не пошла – страшно, в Питере бояться нечего. Укроет, спрячет, убережет.

Куда же делись крылатая собака с хозяйкой? Странно...

Промытый весенним дождем воздух сделал панораму противоположного берега выпуклой и четкой. Нева раскинулась просторно и празднично, как огромный торт, щедро облитый густой глазурью. Напоминание о Ромкином дне рождения... Гладкую застывшую ребристость очень хотелось погладить, даже в кончиках пальцев возникло щекочущее ощущение залакированной зализанности и сразу после этого – липкости, будто шоколадные волны стремительно таяли под теплом руки. Долговязые свечки фонарей, выстроившиеся по краям, дразнились и множились желто-голубыми всполохами, не давая сосчитать возраст именинника.

Рома торты называет пирогами. Говорит, слово вкусное. Может съесть целиком, особенно если с орехами... Она и хотела сделать с орехами. Даже купила на рынке фундук...

Средь свечек и шоколада, отдельно, пошлой масляной розой, подплывшей, рассупонившейся, будто пересаженной с дешевого бисквитного пирожного, торчит здание Конституционного суда. Бывший Сенат, освещенный не в пример прочей набережной нарядно и вызывающе, затмевает и саму площадь, и игрушечную букашку Медного всадника, и даже парящий где-то «над» купол Исаакия. В приказном сиянии прожекторов Английская набережная, сумеречно-серая, почти бесцветная совершенно потерялась...

А Рома и липкие масляные розы любил. Сладкоежка...

* * *

– Это триста двадцать четыре – ноль девять – семьдесят пять? Я по поводу квартиры на Английской набережной.

– Сто метров, перепланировка узаконена, вид – Нева. Две комнаты и холл.

– Здорово. А цена?

– Шесть тысяч за квадратный метр. Шестьсот тысяч евро. Всего.

Лицо Ромы наливается злостью, будто распухает. Потом съеживается, стягивается к носу, будто он хочет свистнуть, значит, сейчас примется ругать всех подряд: город, страну, богачей, президента, время, жизнь. Когда Рома такой, лучше молчать. Даже не поддакивать. Поддакнешь – будет хуже. Попадет и ей, потому что папина дочка, которая как сыр в масле. Поэтому Юля просто глазеет по сторонам. И тоже тихо злится: нарисовали этих «SALE» на каждом доме, к чему? Кому надо – обратиться в агентство, других зачем дразнить? Таких, как Рома.

– Не переживай, что нам Английская набережная? У меня тоже окна на Неву...

– Пошла ты со своими окнами! И со своим папочкой! И со своими деньгами! Я сам! Поняла?

Он разворачивается, уходит, она догоняет.

Помирились. Хотя и не ссорились, так? С Ромой многие простые вещи вдруг оказываются сложными.

* * *

Когда был этот разговор? Ровно за день до того, как Рома пропал.

Исчез. Был и нет. А она есть. И город есть, но без Ромы... Зачем?

Глаза защипало. Будто песком в них дунуло. А может, и дунуло. Юля потеряла веки костяшками пальцев, проморгалась. Напротив, в витой рамке Бетанкуровской ограды, черные на сером, словно гравюра, стояли пес и женщина. Крыло загадочной собаки, задранное нагло и недвусмысленно, реяло парусом Петровского ботика прямо над гранитными строчками Пушкина.

В перламутровых переливах фонарного света мордочка пса представлялась совершенно человеческой и страшно знакомой. До неровно растущей, будто обкорнанной тупыми ножницами, бородки. И дама-старуха – будто из недавнего сна. Сложить воедино лицо хозяйки и морду собаки – точь-в-точь сфинкс. Сфинкс. Вот все и разъяснилось: и крыло, и бородка, и откуда она их знает.

Сфинкс на поводке...

Сейчас дойдут до Академии, впрыгнет на постамент. А хозяйка?

Юля снова протерла глаза: пара удалялась стремительно, будто таяла в сумерках, лишь крыло деловито сновало туда-сюда, освещенное странным, будто собственным светом.

Девушка заспешила, почти побежала и у решетки Манежа Кадетского корпуса поравнялась с женщиной и псом. Через дорогу, рукой подать. Крикнуть? Позвать? Кого? Как? Заторопилась дальше, потому что незнакомка ускорила шаг, словно торопясь обогнать на параллельной прямой.

Белоснежная манишка ресторана Беллини. Парадный мундир Меншиковского дворца. Щека Кадетского корпуса в заспанных морщинах.

Споткнувшись на мигающем тревогой светофоре, Юля рванула вперед – вдруг показалось, что странная пара исчезла – и лоб в лоб столкнулась с ними прямо посередине дороги, на аккуратном толстеньком башмачке островка безопасности.

– Извините, – она смутилась, словно ее застукали за подглядыванием в замочную скважину.

– Почему ты побежала за нами? – дама спросила вполне вежливо, даже участливо, с большим интересом разглядывая девушку.

– Собака, – искоса взглянула на пса Юля. – У нее – крыло? Или...

– Посмотри внимательней, – потребовала женщина.

Пес переминался рядом, явно тяготясь вынужденной остановкой посреди мчащихся автомобилей. Причем переминался всеми четырьмя лапами. Равно собачьими, равно волосатыми.

– Крыло, правильно угадала.

– Но...

– Ты испугалась и перестала видеть.

– Песок попал в глаза.

– Пройдет.

– Что это за порода?

– Цвергшнауцер. Слышала?

– Нет. Наверное, редкая.

– Такой он – один.

– Из-за крыла?

– Крыло – случайность.

Слова отскакивали от губ незнакомки мягкими горошинами, долетали до ушей и оседали в глубине головы вязущей волокнистой массой, в которой сладко и приветно сворачивались клубочками засыпающие мысли.

Этот разговор посреди набережной – происходил ли он? И как – мимолетно или бесконечно?

Движение вокруг вполне продолжалось, даже стало гуще – свели Благовещенский, светфор вдруг вышел из желтой комы и разноцветно обрадовался автомобильному потоку, в котором он снова стал главным.

Красный – желтый – зеленый сменяли друг друга, машины вжикали слева и справа, некоторые и напрямик сквозь Юлю и женщину, а беседа не кончалась. Мимо и сквозь шли люди, радуясь, что успели на временную сводку, обдавая запахами пива, духов, острых сухариков, но бестелесная рука не могла отстранить идущих напролом, проскальзывая, не задевая, не ощущая.

И бородатый пес, снова с крылом вместо ноги, молча топтался рядом, равнодушно шевеля перьями.

– Почему?

– Захочешь понять – узнаешь. Как я узнала тебя.

– Разве мы знакомы?

– Конечно, только ты этого не помнишь.

– Кто вы?

– Прислушайся – поймешь.

Юля напряглась – еще недоумевая, не понимая, морщась от этого непонимания – и вдруг ощутила ласковое тепло, будто внутрь плеснули парным молоком, густым, сладким, даже во рту стало вкусно, аж захотелось причмокнуть от удовольствия. В груди счастливо захолонуло, словно пробился какой-то росточек. Предчувствие понимания. Или узнавания.

– Пойму?

Собака дернула поводок, подняла мордочку к небу, требовательно на что-то показывая.

– Светает? – суетливо спохватилась дама, мгновенно став старухой. – Прости, милый, бежим. Ему нельзя, чтобы свет... – объяснила Юле. Чуть виновато, намереваясь коснуться щеки, приблизилась лицом. – До встречи! – ускользающе тая в улыбке, отстранилась. – Нам пора. Ничего не бойся. Он вернется, а я всегда буду рядом.

– Кто вернется? – оторопела Юля, мгновенно, впрочем, сообразив, что речь – о Роме. И холодно обмерла, вспомнив, что незнакомка не может ничего знать, то есть говорит не ей и не о ней.

Обозналась?

Оглянулась: к кому обращены слова? Ни единого лица. И рядом – тоже.

Совершенно одна. Ровно посередине Университетской набережной. На перекрестке против угла Румянцевского сада. Проезжающие на безусловно зеленый машины удивленно сигналили тоненькой девчонке, застывшей вопросительным знаком в таком неудобном и опасном месте.

Академическое утро

Утро выдалось липким. Тело мгновенно обволоклось осклизлой паутиной, сковывающей движения и мешающей дышать. Руки, ноги, уши, лоб – все немедленно завоняло, как подпорченный продукт в отключенном холодильнике: касаться самого себя противно до тошноты. Сейчас бы под душ... И стоять под водой долго-долго, вечно, пока не смоется до самых костей эта исключительно мерзкая пакость. Только где его взять – душ? Горячей воды нет уже две недели, а сегодня и холодную отключили. Кран выдавил пару гнойно-желтых капель и сдох.

Если б еще не болела голова, этот мрак можно пережить, а так – канава. Сад все равно надо убирать. Комендантша вчера особо предупредила: в обед притащится какая-то важная экскурсия, все должно быть тип-топ.

Вот чего они так надрались? Вроде по поводу. Ли принес пиво. Не наше, привычное, а свое, китайское. Типа, отметить свой потрясающий успех – из Шанхая пришло официальное письмо: Ли Чунь Аню правительство поручает важную работу по росписи театрального занавеса для нового Дворца культуры. У Личуньки от восторга даже глаза прорезались.

Российским традициям за три года учебы Ли внял вполне, потому и проставился. Сам. Иначе бы заставлять пришлось. Короче, начали с китайского пива. Потом Гоген из уважения к успеху товарища принес водку, поскольку не знал, что уже начали с пива. Не выливать же. Как раз и пиво закончилось. В комнате – жара, аж до обморока, вышли на природу – в сад. У Вороны гулеванили подростки, пришлось шлепать к барону, там и трава пышнее: рабочие, что сад брили, этот кусок обошли – оставили напоследок, а потом приложились к портвешку и позабыли. Так и остался барон необкошенным.

Водка кончилась быстрее, чем пиво. Всего-то и успели выпить за талант барона, за его коней, за Аничков мост и за собственную гениальность. Все. На тост за Личуньку не хватило. За пивом послали Гогена, поскольку он и так виноват – заставил пить водку, а Гоген приволок хереса. Кто не знает: мешать пиво с водкой можно, но пить после этого вино, тем более с таким матерным именем... Гоген тоже знал, но забыл. Не убивать же. Ли изложил свой гениальный замысел росписи, а Славик орал, что это отрывка коммунизма. Потом – с чего вдруг? – решили установить дежурство у барона, чтоб кто-нибудь не спер верхнюю лошадку – макет памятника Николаше. Спать бы раньше уйти, знал же – утром рано на работу, так парни не пустили: поможем, стучали пяткой в грудь, вместе уберем. Поверил. Придурок. Валяются, как бревна, на полу, перешагивать замучаешься. На его кровати – Славик, рядом какая-то голая телка. Откуда взялась? Не было девок! Или были?

* * *

Рома взял мешок для мусора, совок с метлой и потащился по загаженному саду. Друзья – хорошо, но, когда тебе с утра пахать, а им по хрен, – обидно. Одно утешает: работа – вот она, вышел из подъезда и уже на службе. И жилье свое, отдельное.

Восемь метров, окно. Ущербное, правда, потому что – подвал. Зимой вообще света белого не видать, зато сейчас трава колосится, даже занавески закрывать не надо.

Сначала-то он жил в общежитии. Тут же, в соседнем доме. Койки в два яруса, кроме него – семь человек.

Соседи – три китайца, бурят Дима – это нижний ярус, а наверху под потолком – Рома и еще три парня с четвертого курса. Но эти трое тут и не жили почти, снимали, перебиваясь общагой лишь в моменты переездов с одной хаты на другую. Так что на втором этаже –

он один. Никто на башку не свалится. Кайфовал недолго, обрыдло: жить впятером, хоть и рядом с Академией – не фиг ли сладко.

Зимой Славик предложил на двоих убирать сад, все-таки деньги, а счастливый довесок к работе – эта комнатуха, дворницкая. В каморке железная, как в общежитии, кровать, дореволюционная, с махровыми лепестками облупляющейся краски, тумбочка, стол о трех ногах, прибитый прямо через столешницу к стене невероятной величины гвоздем. Над металлическими штырями вешалки – полиэтиленовый, серый от старости и пыли, пожатый балдахин, типа, шкаф.

Общая кухня, душ. «На тридцать восемь комнаток всего одна уборная». Все удобства, короче. Хоть телок води, хоть борщ вари – никто не мешает. Девчонок Рома любит, они его – взаимно. Можно с лекции свинтить, быстренько трахнуть и не опоздать на мастерскую. Очень кайфово. Если б еще не работать.

Зимой-то что за печаль? Тропинки собачники вытопчут, бомжи греются по чердакам и подвалам, бутылок и мусора немного, прошел снежок, вот тебе и уборка. Зачем вообще дворники? Однако комендантша мыслит наперед, а наперед – весна и лето, когда вся окрестная шушера выползает на свежую травку. Из Румянцевского сада их гоняют – туристов много, а тут – приволье и лепота, несмотря на то что набережная в паре шагов.

Правда, в апреле Роминого оптимизма сильно убавилось. Как только солнце вылезло, как стал снег таять, так сад и расцвел! Битые бутылки сияют, окурки рябят, жестянки из-под пива и колы серебром и золотом светятся, драные полиэтиленовые пакеты тюльпанами шуршат, обрывки газет и журналов птицами летают...

«Герника». «Лебеди, отраженные в слонах». «Траурная игра».

Вот она, правда жизни: счастье легким не бывает. Сам собой вывелся закон: садовый мусор – субстанция перманентная, сколько ни паши – чисто не будет. И напрягаться не стоит. Крупняк собираем, мелочь игнорируем. Сама травой зарастет. Туристы посещают в саду два места: воронихинский подарок – резервную колонну, не понадобившуюся при строительстве «Казани», в просторечье – Ворону, да памятник барону Клодту. На них и сосредоточимся.

* * *

Героически преодолевая тошноту, Рома потащился к барону. Меж колонн греческого портика попутно выгреб коричневые двухлитровки из-под пива, смел в траву мокрые от ночной росы окурки, подавился их непереносимой острой вонью, громко рыгнул, запнулся о булыжник, чуть не растянувшись во весь рост, поднялся, уцепившись взглядом за недалекую прочную ограду и – очумел: прямо под окнами деканатского флигеля, наискось от гордо тоскующего барона происходил секс. То есть любовь. То есть соитие. По-простому говоря – там трахались.

Молодой парень в спущенных черных джинсах и пятнистой бейсболке деловито ерзал туда сюда, сверкая белоснежной задницей на весь сад и Третью линию. В доме Штрауса через дорогу ритмично, в такт, бликовали стекла. Лежащую снизу телку было не видеть, только вольно откинута на траву толстая неопрятно-синеватая ляжка.

Рома остолбенел, даже тошнота прошла. За полгода работы в саду, он, ясный перец, навиделся тут всякого. И секса тоже. Но – ночью! Когда не столько видно, сколько слышно! А если и видно, то намеком. Как карандашный набросок. Пыхтение – пунктиром, вздохи – точками, нечаянный стон сорвавшейся каракулиной. А чтобы вот так, в девять утра, когда народ по тротуару шастает, в саду собачников полно...

Он даже головой потряс: вдруг с бодуна чудится? Голова отозвалась звоном и резью в глазах, но трахальщики никуда не делись. Во дают! – констатировал Рома и деликатно,

задом, стал отодвигаться от интимного места. Снова запнулся и на сей раз – грохнулся. Да так больно – копчиком о ребро каменной урны. Взвыл, уже не опасаясь спугнуть увлеченную сексом пару, и поковылял, потирая ушиб, прямиком к Вороне.

– Здорово, земляк! – хрипло поприветствовал его из-за скамейки только что восставший из ночного небытия абориген Горик. – Никто ниче не оставил?

Имелось в виду: не нашел ли Роман во время уборки недопитого пива или вина. Подобное нередко случалось, особенно если в саду случайно засыпали не тертые алкаши, не оставляющие врагу ни капли, а случайные граждане, прикорнувшие под скамейкой по недоразумению. В первые месяцы рабочей страды, будучи непросвещенным и глупым, остатки из бутылей Рома сливал наземь, однако аборигены деликатно застыдили его страшным стыдом, укоризненно вопрошая: не сволочь ли он последняя.

Горик взирал с такой надеждой, что немедленно хотелось помочь.

– Только вышел, – вздохнул Рома. – Найду – принесу.

– Не обмани, любезнейший, – изысканно попросил Горик, заваливаясь обратно за скамейку. И уже оттуда сообщил: – В Гатчину скоро поеду картошку копать, в зиму без запасов нельзя.

То есть вскорости Горик сколотит бригаду из трех-четырех собратьев, и двинут они в поля, где дозревают корнеплоды, чтоб успеть до массовой уборки умыкнуть по паре-тройке мешков на рыло и схоронить НЗ в одном из заброшенных погребов. Этой зимой Горик со товарищи выжили исключительно на таких запасах.

– Поедешь с нами? – проявил высшую степень гуманизма Горик, параллельно вновь уходя в небытие.

– Нет, – качнул головой Рома. – Некогда.

В Гатчину он не хотел. Наездился на электричках за два года, пока не было общаги. Да и что там делать? Мать живет – от Гатчины пять километров пехом.

* * *

Областным жителем Рома стал три года назад, как раз когда окончил школу. До того обретался с матерью неподалеку, на углу Малого и Одиннадцатой, в коммуналке, двумя соплявыми окнами на помойку.

Мать рассказывала: перед Роминым рождением у отца на заводе подошла очередь на квартиру, и им предложили однокомнатную в Веселом поселке, но кто-то умный посоветовал однуху не брать, а претендовать на двушку после рождения ребенка. Когда же появился Рома, грянули, как говорят по телевизору, судьбоносные перемены в стране.

Очередь на жилье сначала затормозилась, потом замерла, а через пару лет и сам завод сыграл в ящик, не пережив приватизации. Родители, по той поре молодые и энергичные, сами взялись за решение жилищного вопроса: продали жигуленок, бабкин дом на море в поселке Джубга и все вложили в акции, обещавшие на выходе тыщу процентов прибыли. Даже новый импортный холодильник, доставшийся матери по розыгрышу на работе, красивый, с двумя разными камерами, предмет зависти всей квартиры, продали соседям.

– Зачем он нам тут? – счастливо улыбалась мать. – Потерпим годок-то, да?

И топила дефицитный брусок сливочного масла в литровой банке с водой, чтоб не попортился.

Каждый вечер, это Рома уже помнил, семья считала прирост капитала, умиляясь телевизору, который без устали показывал таких же, как они, счастливых обладателей волшебных акций. На громадную прибыль предполагалось купить: квартиру, машину, обстановку, новые телевизор с холодильником и съездить всей семьей в Болгарию на курорт.

– Ну, сынок, – трепал его голову отец, – как советуешь, что еще приобрести? Деньги-то остаются!

– Дачу! – радовалась мать. – Клубнику посадим. Маму перевезем.

– Лучше самолет, – солидно вступал в беседу Рома, – к бабушке летать.

Идиллия продолжалась год. А потом Рома вернулся из продленки и на пороге комнаты споткнулся о люстру. Поднял голову, недоумевая, почему светильник на полу, и увидел отца, свисающего вместо нее с потолка. В новом костюме и праздничных белых носках. На одном болталась коричневая этикетка на толстой веревочке.

– Папа, – дернул за ногу Рома.

И тут же понял, что отец неживой. И страшно перепугался. И закричал – тонко-тонко, как электрический лобзик, которым сосед выжигал на фанерках из-под посылочных ящиков голых теток, чтоб продать у метро.

Сосед первым и прибежал на его крик. Вызванная с работы мать нашла записку, в которой отец просил прощения у жены и сына за все: фирма, которой они отдали сбережения – сплошные жулики и воры, их арестовали, но денег не нашли.

Следующие десять лет Рома с матерью прожили в той же коммуналке, бедно, скудно, тоскливо. Макароны, квашеная капуста, картошка – вся еда. На день рожденья – бутылка кока-колы, Останкинская колбаса и вафельный торт – пир! С Кубани иногда – сушеные фрукты, чеснок и сало. Одежда из секонд-хенда. Дома – старые отцовские треники, чтоб джинсов на подольше хватило.

Нищета сделала Рому заносчивым, независимым и находчивым. Шнурки в кроссовках в нитки истрепались, вдел новые, скрученные из старого материнского ситцевого халата в горошек. В школе – писк от восторга! За лето вытянулся, штаны до щиколотки задрались. Ножницы в руки, остриг лишнее, бахрому распустил – вышли отпадные бермуды. Одно плохо: зимой не походишь. Так он в том же секонд-хенде гольфы полосатые прикупил. Короче, приспособился. Все думали, что он по приколу так одевается, девчонки глазки строили – модный чувачок!

Когда Рома заканчивал школу, в квартиру явились какие-то праздничные мужики с сообщением: дом расселяют. Предложили однокомнатную на Ржевке или отдельный домик под Гатчиной. Мать, поревев, съездила за город, выяснила, что при домике есть огород, а электричка останавливается почти рядом. И работа нашлась – медсестрой в райбольнице. Выбрали Гатчину.

Год Рома вставал ни свет ни заря, пехал на электричку, ввинчивался в переполненный вонючий вагон, потом ухал в потное метро. В конце первого курса препод по рисунку, узнав, отчего Роман все время норовит заснуть на занятиях, предложил вариант с общагой. Препод Рому любил, считая самым талантливым в группе. Хвалил его линию – ловкую, быструю, эмоциональную. Как у Модильяни. Техники, конечно, никакой, надо постигать. А откуда ей взяться? У однокурсников за спиной художественные школы, специальные лицеи, у Ромы – школьный курс рисования. Домикиморковки.

* * *

Бывает же... Живет обычный мальчишка, мечтает стать сыщиком или рэкетиром, повзрослев – банкиром или нефтяным магнатом, но в душе знает: будет архитектором – днем ворочает деньжищами, на личном самолете облетает собственные вышки, а вечером – бумага и карандаш. Хобби. Собственный дом по собственному проекту. Такой, что все ахнут. И пойдет слава о скромном зодчем, который гениален как... Сансовино. Или Растрелли. Или Трезини – первый питерский градостроитель. Забросит он банки-шманки, вышки-пышки и построит новый город. Как Ле Корбюзье. Центр трогать не посмеет – лучше уже не приду-

маешь, а вот кусок земли на окраине – да. И – новое слово в архитектуре. Российский Фил Старк. Про архитекторов очень здорово рассказывал сосед – дед Славика. Он же и альбомы давал рассматривать.

Рисовал Рома всегда и везде. Мелом на асфальте, углем на стенах, фломастерами в подъезде, ножиком на скамейках, гуашью и акварелью на бумаге. Руки такие неугомонные – ни секунды покоя. О холсте и настоящих красках даже не мечтал – в голову не приходило.

Однажды он с удивленным восторгом обнаружил, что мир вокруг состоит из картин: куски пространства – дома, люди, река, деревья – все – отдельные самостоятельные живописные полотна, причем в специально придуманных рамах. Модерновые – из электрических проводов, нарочито простецкие – из фонарных столбов, ассиметричные – резко очерченные линиями крыш и дорог, купечески богатые – из завитков и кружев листьев и цветов.

Глаза открылись, и прежний мир испарился, как роса на солнце, без боя и печали сдавшись новому – бескрайнему выставочному залу с работами, одна гениальнее другой. Но мыслей об учебе в Академии не возникало. Ни разу. И когда Славик, уже студент, увидев его росчерк на тетради, присвистнул: давай к нам, у тебя точно есть талант, он ухмыльнулся:

– У художников, как у генералов, своих детей полно. Тебя дед пристроил, а меня кто?

Когда-то отец приучил каждый день записывать впечатления – вести дневник. По строчке-две: с кем гулял, что делал. Отца не стало, а Рома все писал вроде, перед ним отчитывался... Теперь дневник больше похож на альбом: шариковые строчки – подписи под рисунками. Лица, дома, а то и целые сценки. Графика. Этой весной начал новую тетрадку. Четыре – исписанные и изрисованные – спрятаны от постороннего любопытства на дне чемодана под кроватью.

* * *

«МММ» было зарегистрировано 20 октября 1992 года. Создатель предприятия Сергей Мавроди сразу организовал по всей стране сеть пунктов продажи акций „МММ“, которые давали в месяц двойной прирост капитала. Всего за полгода число вкладчиков компании достигло от 10 до 15 миллионов человек.

В Петербурге действовало около сорока пунктов продажи „МММ“. В некоторые дни очередь тянулась от метро „Василеостровская“ до Университетской набережной.

3 августа 1994 года Мавроди был арестован по обвинению в неуплате налогов, 4 августа 1994 года пирамида рухнула. Пострадавшими от деятельности ОАО „МММ“ считаются более 10 миллионов человек, ущерб оценивается в несколько миллиардов долларов США. После краха „МММ“ 52 инвестора, потеряв все свои сбережения, совершили самоубийство.

Мавроди скрывался от следствия, пользуясь паспортом на имя жителя Санкт-Петербурга Юрия Зайцева. Его безопасность обеспечивали бывшие сотрудники спецслужб, профессионально использовавшие слежку, прослушку и контрнаблюдение.

Мавроди указал финансовым властям, какой огромный неосвоенный рынок лежит у них под ногами. После краха „МММ“ государство взялось активно развивать программы выпуска облигаций. Начиная с 1995 года их эмиссия росла как на дрожжах, пока не превратилась в пирамиду ГКО.

Кончилось это так же, как у Мавроди, только обманутой оказалась вся страна.

(По материалам российской прессы 1995–2003 гг.)

«В Петербурге пресечена деятельность создателей очередной финансовой пирамиды – потребительского общества „Ладога“, от которой пострадали более тысячи человек. Примерный ущерб вкладчиков оценивается в 25 миллионов рублей».

Радио «Маяк», июнь 2007 г.

«Более 100 тысяч петербуржцев – вкладчиков инвестиционного проекта „Бизнес-клуб «Рубин»“ компании „Сан“ не смогут вернуть свои деньги. Первая финансовая пирамида XXI века рухнула. Ущерб, нанесенный вкладчикам, оценивается в десятки миллиардов рублей. Руководители „Сан“ действовали по схеме, изобретенной Сергеем Мавроди в начале 1990-х годов».

«Коммерсант», февраль 2008 г.

«В Петербурге выявлено 6 компаний с признаками финансовой пирамиды, которые привлекают деньги под слишком высокие, до 60 % годовых, проценты.

Это: ООО „Кватро Инвест“, ЗАО „Центр фондовых операций“, некоммерческое партнерство „Русский проект“, ООО „Базис Альянс“, ООО „ИЭкс Инвестмент Групп“ и „NordAutoTrading“. Сведения об этих компаниях переданы в прокуратуру города».

«Деловой Петербург», апрель 2010 г.

«По данным регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам, сейчас в России работает 30 компаний, которые привлекают средства граждан под высокие проценты и имеют признаки финансовых пирамид. Из них более 10 работают в Петербурге».

«Деловой Петербург», июль 2012 г.

* * *

Парень в пятнистой бейсболке все махал и махал без устали. Сверкала задница, голубели ляжки. Рома обошел сад уже два раза, сужая круги к барону. Два здоровенных черных мешка расперло от бутылок и мусора, а эти заразы все никак не могли кончить.

Жесть.

Собачники деликатно скупились возле Четвертой линии, псы паслись тут же, не посягая нарушить таинство публичных утех. Прохожие, сдуру ломанувшиеся через калитку против памятника, спотыкались взглядами о поджидавший за оградой сюрприз, охали, кричали, не веря глазам, и стыдливо припускались вскачь.

Местные алкаши, собравшиеся у мозаичных мастерских на обязательную утреннюю сходку, отнеслись к происходящему философски, типа интеллигента за столом, не замечающего пролитого соседом супа. Мужики занимались серьезным делом: пересчитывали общую наличность, решая, чем правильнее встретить грядущий день – портвейном или пивом. О водке вопрос не вставал. Для академических аборигенов водка с утра – моветон. Раньше полудня – ни-ни!

Измаявшийся Рома тоскливо попросил убрать за собой после «завтрака». Пообещали, уважительно внимая нелегкому дворницкому труду. Ясный пень, выпьют – забудут, но искреннее участие вдохновляло.

На чешуйчатой, как крокодила спина, каменной скамье лицом на Четвертую линию спал Трифон. Исцарапанные грязные руки нежно и заботливо прижимали к груди недопитую бутылку шампанского.

Еще месяц назад Серега Трифонов, охранник Академии, важно гремя ключами, обходил по вечерам сад, строго шугая чужих и вполне благоволя своим. Мог вступить в беседу о международном положении или высказать профессиональное мнение о последнем матче «Зенита». Хороший человек, положительный, солидный. И такого бросила жена! В результате, запив по-черному, Серега забыл закрыть на ночь сад. Кто-то чужой, свой бы не посмел! – взломал конюшню и выкрал пони.

Трифона уволили, идти ему было некуда, да и не мог ввиду полной неуправляемости членов, он и прикорнул прямо на месте своего триумфа и позора, да подзадержался – выходное пособие позволило.

Уважая чужое горе, аборигены сердобольно ходили за шампанским – ничего иного Серега не признавал, в душу не лезли, денег не просили. Деликатность высшей пробы. По ночам на здоровенном камне, вросшем в землю позади скамейки, выставлялись посты для охраны неверного трифоновского сна и его же благосостояния от посягательств ушлых чужаков. Никого это не удивляло. Люди. Горе у всякого случиться может.

В общем, Академический сад представлял собой обособленный мир, со своими законами, правилами, устоями. Свои собачники, свои собаки, свои алкаши, свои студенты. Тот, кто забредал случайно, надолго не задерживались. Собак не принимали собаки, хозяев – собачники, пришлые студенты, пристраиваясь на этюды, не могли уловить смену света и тени, терялись в пене листвы, не в силах поймать ускользающую гармонию пространства, обиженно тарасились, не понимая, что происходит, сворачивались и уходили, не возвращаясь.

* * *

Тупое кружение по саду Роме изрядно надоело. Уже и посланец аборигенов степенно вернулся из магазина, уже хозяева увели скандальных братьев-фоксов и веселого овчара Кузю, уже на площадку перед конюшней вывели для этюдов рыжего мерина Филю и натурщик Иван Романыч, изображающий бравого казака, пристраивал на лысину папаху, используя в качестве зеркала замызганное окно, а публичная порнуха перед изумленным взором бронзового барона все не заканчивалась.

Тошнота у Ромы прошла, захотелось есть и пить, а как уйдешь? Сад-то не убран! Затянувшееся чужое счастье начинало злить. Сколько можно? Рома подошел ближе и громыхнул совком о ведро. Никакой реакции!

– Блин! – громко выругался Рома. – Больше часа прошло! Нашли место!

Бейсболка, не останавливаясь, приподнял голову и махнул рукой: типа, проходи не мешай, не видишь, делом заняты?

От подобной бесцеремонности Рома офонарел. И даже почувствовал что-то вроде зависти. Или желания. Вспомнилась голая незнакомка на кровати со Славиком. Горячая кровь мгновенно свинтила из головы вниз, заполнив собой до отказа одно-единственное место – между ног. Джинсы немедленно вспухли так, что пришлось присесть – в раскорячку много не походишь.

На недостаток мужской силы он пожаловаться не мог. Девчонки всегда оставались довольны, но так долго... Это ж как надо по бабе истосковаться! Может, бейсболка из тюряги

вышел? Или любовь. У Ромы такая пока не случилась. И без любви любая готова, только свистни. А сегодня свистеть некому – воскресенье.

* * *

Камень приятно морозил ягодицы, Рома поерзал, чтоб охладить восставшую плоть, и засек за оградой девчонку. Пялится на трахальщиков во все глаза. Перехватила взгляд, смутилась, отлипла от решетки и дунула мимо, типа, опаздывает.

Прискакал лабрадор Боня, толстый, белый, веселый с болтающимся розовым языком. Сунул морду под скамейку, вытянул затоптанную ленту сосисочного полиэтилена, втянул в себя как пылесос и унесся к компании заканчивающих «завтрак» аборигенов, приступивших, судя по сленгу, к безоговорочному осуждению внешней политики украинского президента. Там Боня разжился заветренным куском плавленого сырка, употребил остатки пахнущего килькой соуса из консервной банки и помчался в другой конец, приметив подружку – рыжую сеттершу Ньюшу.

Ньюша была загадкой природы. Происходившая из интеллигентной непьющей семьи университетских профессоров, сеттерша не знала удержу в пагубной страсти к алкоголю. Ела мало и плохо, соглашалась лишь закусить парным мяском глоток коньяка, посему, несмотря на хорошие условия проживания, оставалась болезненно худой, вызывая печаль хозяйки и недоумение соседей. Сейчас она нарезала конкретные круги возле спящего Трифона, вожделея о глотке шампанского. Трифон же, несмотря на крепкий сон, бутылку держал крепко, без наклона. Огорченная Ньюша помчалась к одинокому философу Диме, появившемуся минут пять назад, но уже одолевшему вторую банку пива. Ловкой лапой сеттерша перевернула опорожненную жестянку, лизнула выкатившуюся каплю, просительно завияла хвостом. Дима, вполне входя в положение собаки, плеснул пены на валявшуюся рядом газету, Ньюша не дала ни капли напитка впитаться в бумагу, за что и получила строгим поводом от рассерженной хозяйки.

Наконец-то! Бейсболка переменял ритм: стал замирать, будто прислушиваясь к надвигающимся ощущениям, тыкаться губами в лицо и шею смирно лежащей партнерши, порывивать. Скоро кончит, – решил Рома. И побрел выносить мусор.

Тащился медленно, лениво, еще ощущая меж ног горячую неприкаянность, и вдруг за одним из раскидистых кустов шиповника снова увидел девчонку. Ту самую.

Здрате! Мы никуда и не ушли! Спрятались и подглядываем!

Глазищи вытаращила, огромные серые, как вода в Неве, и аж не дышит! Пацанка совсем. Миленькая. Волосы хорошие – светлые, по плечам – как меховой воротник. Кожа бледная, аж светится. Местная, сразу видно. Питерский ребенок, солнца не выдавший. И секса тоже. Потому и прилипла. Или сама хочет? На траве принародно? Нынешние ссыкли – они такие...

В штанах снова загорячело до ломоты и страшно вдруг захотелось разложить эту сероглазую на траве и иметь долго-долго, как секс-гигант в бейсболке.

– Слышь, давай трахнемся! – шепнул он ей в ухо, обойдя куст сзади.

Девчонка дернулась, испуганно ойкнула и метнулась на дорожку. Волан юбки зацепился за шиповниковые колючки. Сероглазая дернулась и замерла, будто бабочка на булавке.

– Пошли, – ухмыльнулся Рома, – я тут рядом живу. Перепихнемся по-быстрому! Раз десять, наверно, кончила, пока наблюдаешь?

– Дурак! – вспыхнула всем бледным лицом девчонка и заплакала.

Слезы брызнули, как из крана, отвернутого на всю катушку. Даже до Ромы долетели. Она зло дернула юбку и, оставив кусок волана на гвоздях шиповника, выскочила на асфальт. Бегом, утирая на ходу слезы, заторопилась в сторону Большого.

Дневник Романа, 01 июля

Надо завязывать с грибами. Все. Сегодня на спуске кемарнул, подходит мужик пожилой. Одет прикольно: кафтан до колен в серебряных галунах, шляпа с загнутыми полями треугольная, из-под нее – букли висят. Штаны короткие, гольфы, боты с бантами. Как из восемнадцатого века сбежал. Летом на набережной ряженных полно, туристов привлекают. А этот как звезданет мне в ухо:

– Вставай, олух, топай на Тифлисскую, к книгохранилищу.

Я припух. У нас же там практика по реставрации. Отвернулся, чтоб он не приставал.

А он мне ботой в бок как шарахнет! Головой трясет, палкой тычет:

– Не смей род позорить! Ты один способен фамильное дело продолжить.

Сон или глюк? Не понял. Глаз приоткрою – стоит. Бумаги какие-то достал. Старые, пожелтели уже.

– Под слоями штукатурки моя лепнина осталась. Осторожно счищай, лучшие в одиночку. Один блок из чистого золота. Знал я, что потомки состояние промотают и бедствовать будут.

Спрашиваю: ты кто, мужик? Он меня глазами сверлит: не узнаешь? Шляпу свою дурацкую снял. Пот вытер. И бумажку мне под нос:

– Наш фамильный герб.

На рисунке вроде щит. Как рыцарский. Скошенный, на четыре треугольника поделен, типа Андреевского флага. В верхнем треугольнике на голубом поле корона золотая, внизу так же на голубом, – шестиконечная звезда золотом. Боковые треугольники – серебряные. В них по центру – красные зигзаги, как молнии.

Рисую как запомнил.

Фамильный герб. У нас с ним. Ага. Тут дошло: не сон и не глюк – псих.

Он надулся, аж покраснел:

– Помни, оболтус, кто ты есть и соответствуй.

Хотел послать подальше, язык не шевелится! Точно как во сне. Хотел встать – никак. И в глазах пелена. Проморгался – рядом никого. Ни-ко-го! На всем спуске!

Славка ржет: ищи герб в Интернете, вдруг ты чей-нибудь забытый потомок, наследство получишь!

Вечером стрелканулся с Юлькой, с которой вчера познакомился. Ниче такая мартышка, забавная. Дура дурой. Крутой наивняк! Хотел поцеловать, оттолкнула, разревелась. Убежала. Догнал. Зачем, сам не знаю. Что-то в ней есть.

Тайна Цверга

Значит, так они познакомились...

– Дека, ты видел?

– Конечно, – проворчал из-за закрытой двери недовольный дребезжащий голос. – Не сейчас, давно.

– Ты подсматривал за Юлей?

– Конечно, – возмущенно прокашляли в ответ. – Хочешь ввести в дом неизвестно кого, открыть мою тайну, а я должен потакать маразму?

– Прекрати грубить! – прикрикнула женщина. – Юля – моя внучка и тебе прекрасно известно ее предназначение.

– Потому и контролировал, – проскрипел тот же голос. – Льда принеси, дышать нечем.

– Совсем плохо? – забеспокоилась женщина. – Чего молчал?

– Чего-чего, ты как свое сокровище увидишь, так становишься глухой, слепой и тупой.

Еще бы пара минут – и все.

– Что – все?

– Ушел бы к братьям.

– Ну что ты! – женщина явно занервничала. – Успокойся!

Открыла морозильную камеру, занимавшую чуть ли не полкухни, как те, что в магазинах забиты морожеными полуфабрикатами, извлекла несколько покрытых шерстяным инеем булжников, сыпала в полиэтиленовое брюхо стеганого мешка крупно искрошенный лед, сгрэбла все это в медный таз, накрыла куском ватного одеяла.

* * *

Маленькая комната квартиры напоминала подземелье. Плотное зашторенное черным сукном окно едва прорисовывалось по периметру крохотными тусклыми звездочками, обозначающими местоположение частых гвоздиков, намертво припиливших ткань. Непосредственно под окном почти встык друг другу раззявили облупленные пасти еще две морозильные камеры, натужно гнавшие в помещение влажный холод. По всему полу в жестяных банных шайках, обложенных слезящимися булжниками, вздыхала коричневая вода. Раскормленные черные змеи поливочных шлангов обвивали несколько аккуратных пирамидок из разновеликих камней и щебенки.

Усталая испарина на влажном темном кафеле стен, блестки воды в щербинках шершавой тротуарной плитки пола.

У морозилок, где парные опахала холода опадали вниз пуховым водопадом, темнела выложенная из камней ниша. В ее углублении, напоминающем примитивную садовую клумбу, на плотно набитом кожаном матрасе лежал крохотный человечек.

По размеру конечностей, тела и головы его вполне можно было принять за годовалого ребенка, если б не страшные скрюченные артритом пальцы с черными ногтями, седые космы на черепе и невероятно морщинистое уродливое лицо с громадным носом под низко надвинутым на глаза лбом. Отдельно сбоку обглоданным до костей чилижным веником сучала ржаво-седая борода.

– Почему ты опять отключил кондиционер? – строго спросила женщина.

– По кочану, – злобно отозвался карлик. – Чуть не задохнулся.

И то правда: под окнами с самого утра скрежетал странный однорукий механизм, движок которого, жадно поглощающий солярку, заплывал двор-колодец серо-синим вонючим дымом. Хорошо, в квартире стеклопакеты.

Соседи требовали прекратить безобразие, пытались вызвать санэпиднадзор, пожарных, милицию. Механизм не отключили, дыма прибавилось, никто из вышеозначенных на вызов не откликнулся. Значит, имеет место очередной щедрый подарок жильцам Дома Трезини от хозяев будущего отеля.

– Потерпи, милый, вечер, скоро жара спадет... – женщина поставила рядом с карликом мешок со льдом, открыла, направив ток морозного пара на лохматую голову. Угнездила под седые космы обернутые тряпицами заиндевевшие камни.

Человечек лишь тяжело вздохнул.

– Неужели мою внучку так интересуется секс? – она рассуждала вслух, вовсе и не надеясь на беседу или даже реакцию старичка.

– Старая дура, – неожиданно заносчиво отозвался тот. – Совсем выжила из ума? Не понимаешь? Ее интересую я!

– Ты?! – хозяйка остолбенела, пропустив мимо ушей явное оскорбление.

– Ну... И ты немножко тоже, – неохотно выдавил карлик. – Но только как приложение ко мне.

– Хочешь сказать, в саду она искала тебя?

– Конечно! Там же собаки. Много.

– Дека, милый, – женщина счастливо засмеялась и ласково потрепала гнома по морщинистой щеке, – не представляешь, как порадовал! Она ищет тебя? То есть нас? Все получается! Понимаешь? – она встала и по-молодому упруго заходила по комнате, грациозно переступая через шланги и камни. – А этот мальчик... Несмышлениш... Решил, что она такая, как все! Моя внучка – такая, как все. Надо же додуматься... Дурачок!

– Дурачок, – кивнул карлик. – Тогда она искала нас, а теперь его, – он погрузился, – мы ей совсем не нужны.

– Откуда ты знаешь? – возмутилась женщина.

– От верблюда, – ворчливо уведомил старичок. – Она его любит, тебе неясно?

– Любит? Почему тебе знать? Ты – цверг. Ты никогда не любил. Разве ты можешь понять человека? Тем более – ее?

– Сама – цверг, – отмахнулся карлик. – Альдога недоделанная. За свои века я сам почти человеком стал. Даже плакать могу. С волками жить по-волчьи выть. Хотя с волками – лучше. Спокойнее. У них прагматическое воспроизводство и никакой любви.

– Ты не можешь стать человеком, у тебя нет души, – поддразнивая, произнесла хозяйка, обрадованная неожиданной бодростью умирающего пару минут назад старичка.

– Есть, – обиженно надулся карлик. – Докажу.

– Кому?

– Себе. Тебе – бестолку, не оценишь. Все бабы – дуры.

– Точно очеловечился! – засмеялась женщина. – Цитируешь классику.

– Долей в тазы воды и купи, наконец, нормальную штору, сто лет обещаешь, в этой скоро будет дырка. Не видишь? – он ткнул скрюченным пальцем в больший, чем прочие, лучик света, пробивающийся сквозь ткань.

– Нечего было царапать окно когтями.

– Нечего было превращать меня в собаку!

Перепалка была привычной. Ни злости, ни раздражения. Так, словесный пинг-понг.

* * *

Женщина включила насос, выкачала из тазов теплую воду, набрала холодную. Отнесла в морозилку нагревшиеся верхние крупные камни. Суется и переругиваясь с гномом, внимательно наблюдала за его реакцией и состоянием.

Здоровье старичка в это лето дало откровенный сбой. Он хирел не по дням, а по часам, тускнел глазами, слабел конечностями. Сколько живут цверги? Помнилось: долго, очень долго, но не вечно, и крайне не хотелось, чтоб земное существование Деки окончилось прежде, чем ее. За годы совместной жизни они свыклись друг с другом как родственники, и их ежедневные переругивания были способом разнообразить наскучившее до оскомины бесконечное бытие.

Конечно, говоря, что у цвергов нет души, она специально подначивала Деку. Хотя изначально, понятно, никакой души у него не было. Откуда ей взяться у одного из болотных духов, что правили тут много тысяч лет назад?

Тогда все было другим. И такой реки – Нева – не существовало. И Дека был вовсе не Декой, а одной из миллионов непонятных сущностей, населяющих Литориновое море. Что тогда произошло? Кто так напугал море, что оно съежилось, как испаряющаяся на солнце лужа, и спешно сбежало, оставив вместо себя топи да болота? Почему не прихватило с собой верных цвергов? Случайно, не успев, или нарочно, надеясь когда-нибудь вернуться?

– Наводнения – наших рук дело! – частенько хвастался Дека. – Несколько раз нам почти удалось вернуть море.

Она считала это пустой болтовней выживающего из ума карлика. Хотя иногда промельком вспыхивало в голове собственное прошлое, далекое-дальнее, еще дочеловеческое, когда и она существовала совершенно в ином качестве – бесполого светлого альдога, вечного противника темных цвергов. Правда, эти промельки-воспоминания проносились столь стремительно, что наверняка не сказать, твоя это память или чужая...

Например, наводнения. От основания города при жизни Петра их тут было... тринадцать! (Показательное по людским меркам число.) Первое – через два месяца после закладки Петропавловской крепости.

Вода в ту ночь поднялась на два с половиной метра. Разметало все – бревна, доски, песок, камни. Петр немедленно примчался из Лодейного Поля, а толку? Лагерь Репнина, что разместился меж Петербургской и Выборгской сторонами, затопило полностью, превратив местность в непроходимое болото. Конечно, вся работа встала.

Через пару лет Петра снова пугнули наводнением, небольшим, правда, видно, силенок цверги не накопили, а вот в шестом году, в сентябре, море решило взять реванш: вода поднялась на целых три метра. Но и Петербург в то время уже стал вполне городом – народ спасся на крышах, а сам Петр признавался Меншикову, что вода большой беды не наделала, подумаешь, в царских хоромах в полметра над полом плескалась, так и держалась недолго – часа три, не более.

Два наводнения случились в десятом году, одно – в пятнадцатом... Это – большие, когда Нева поднималась под два метра, малые же кто считал? Привыкли.

В ноябре двадцать первого, после девятидневного шторма, срывавшего кровли, море полностью покрыло острова. Так Петр – вот же лихач! – выехал на буере из Зимнего дворца на Адмиралтейский луг и принялся куролесить, демонстрируя ловкость владения парусом! В награду за смелость цверги еще один потоп организовали, точнехонько через пять дней.

Два раза штурмовало море город в двадцать третьем, а в двадцать четвертом, выходит, цверги все же добились своего...

В тот день, первого ноября, и воды-то особо высокой не нагнало – два метра с лишком, но шторм – жесточайший. Флотилию Петра, возвращавшегося домой, истрепало до печенок. Сам государь, спасая моряков с гибнущего судна, провел несколько часов в ледяной воде, потом всю ночь на корабле, потому что пришвартоваться не удавалось. На берег сошел больным, так не оправился.

Не врет Дека? Сами Петра породили, сами и уничтожили? Цверги... Темные духи болот и топей, питающиеся смрадом испарений и ненавистью к людям...

* * *

Война цвергов и альдогов, вечная как жизнь, не прекратилась и по сей день. Свет борется с тьмой, утро с ночью, добро со злом. Цверги с альдогами, потому что одни – тьма и печаль, вторые – свет и радость. Одни ненавидят город как злейшего врага, отобравшего море и лишившего родины, вторые – оберегают и защищают как родной дом.

Прописные истины. Забытые, сегодня практически непознаваемые, но – существующие! Не утратившие ни силы, ни действенности.

Утро наступит, веришь ты в него или нет. Равно как и ночь. Не тобой определено, не для обсуждения создано. Данность. Правда, знание о цвергах и альдогах в ней тоже из той самой странной памяти, которая то ли своя, то ли чужая – не разберешь. Хочешь – принимай, хочешь – майся сомнением.

Конечно, теперь все очень изменилось. И мир. И Дека.

Злобный жестокий карлик в конце концов просто устал от бесконечно длинной жизни, пузырящейся ненавистью, как перебродившим квасом. Как и когда он превратился из духа в карлика, она не знала, равно как и сколько прожил под землей, во тьме, сырости и холоде. Сам Дека на этот счет молчал, спросить не у кого. Если где и знают, то разве – в Асгарде, но туда путь заказан – ни разрешения, ни сил.

* * *

Она подобрала его морозной зимой, теперь и неясно, в котором году. Давно. Обессиленный и больной, он вышел на свет, чтобы умереть. Известно, какой конец у цверга – лучик солнца как смертельный укол, и вместо живого существа – холодный камень.

Дека ошибся по времени, выполз из земли в декабре, ближе к вечеру, в самое темное время, когда до следующего рассвета – почти сутки. Еще и метель. Покуда сообразил, что промахнулся, сил вернуться обратно под землю не осталось.

Его зов о помощи, слабый, невнятный, услышала только она. Спустилась в завьюженный двор, темнотища, ветер, где-то провода оборвало – фонари не горят, а тут он скулит шевелящимся сугробиком. Думала – собака замерзает, снег откинула... С тех пор так и живут вместе.

Назвала Декабрем, а как еще? Уже потом, когда заговорил, узнала, что его имя – Текка – приятный. Возможно... у черных эльфов совсем другие представления о приятном. Потом уловила созвучие прежнего имени с тем, которым случайно его нарекла: Текка – Дека.

Ах, оставь, – сказала сама себе, – какие случайности, откуда? Значит, послан. А для чего – рано или поздно выяснится.

В ее одиночестве Дека стал настоящим спасением. Отдушиной. А разве отдушиной может стать тот, у кого нет души? То-то и оно. Во всяком живом существе есть душа, пусть маленькая, крохотная, меньше мушиной точки на окне, нежнее осколочка льдинки в весенней луже, незаметнее капельки росинки на проклюнувшейся травинке, но ведь есть! Может, это и чудо, но Дека прав: за долгую жизнь среди людей он стал одним из них. А значит, и

душой прирос. Взрастил, как надземные собраты, светлые эльфы, выращивают самые прекрасные цветы. Собрал по камушку, как Брисинги волшебное ожерелье для Фрейи. Выкопал, наконец, как Двалин копье Гунгнир для Одина, сплел, как Андвари – магическое кольцо силы. Гномы – лучшие умельцы, недаром про это столько сказок сложено.

* * *

– Бабушка, а когда все это было? – Глаза у Юли горят в темноте, она плотнее закутывается в плед, потому что в комнате Деки сыро и зябко.

– Что именно, деточка?

– Ну, когда отступило море и появились цверги?

– Может, пять тысяч лет назад...

– Во время расцвета Древней Греции?

– Примерно.

– То есть там уже все было, а у нас тут даже Нева еще не родилась?

– Всему свое время, милая...

– Если б победили цверги, никакой Петербург Петр бы не построил?

– Вероятно, – бабушка нежно пожимает Юлину руку и виновато взглядывает на Деку.

– Какая беспардонная ложь! – громко и возмущенно восклицает карлик. – Не слушай ее, дитя. Все совершенно наоборот! Вот оно, коварство альдогов! Это всегда была наша земля! Они и пикнуть не смели. Боялись. Потому что мы сильнее. А когда море ушло и сюда полезла Ладога, эти, как саранча, поперли! Цверги – тихие и добрые, мы и воевать-то не умели. Альдогов приняли как друзей: места много, на всех хватит. А им все мало! Агрессоры!

Женщина, не сдержавшись, хмыкает.

– Молчать! – взвизгивает гном. – С чего ты взяла, будто была альдогом? Что альдоги – это добро? Заполонили нашу землю, загнали нас, коренных жителей, в болота и низины. Чем не резервации? Я тебе точно скажу, все эти конкистадоры, янки, фашисты – у них научились! Адское семя. Выродки. Но мы, цверги, не стали сдаваться. Мы копили силы! Выжили! И вышли на сушу.

– Зачем? – ахнула Юля.

– Чтобы вернуть море. К тому времени уже существовала Нева. О, ты не представляешь, как хитры и коварны альдоги! Они помогли реке намыть острова, соорудить дельту, пробить глубокое русло. А нам предстояло все это размыть до основания, до прошлого дна, чтобы снова заполнить морем.

– Ну? – перебила его хозяйка. – И я о том же! Вернулось бы море, не было б города!

– А люди, – не утерпела Юля, – кому помогали люди?

– Люди? – старикашка ухмыльнулся. – Кто их принимал в расчет? Пара калек на тысячу верст. Потом, когда они стали тут размножаться, нам удалось им внушить, что все беды – от реки.

– Так и это ваша работа? – ахнула женщина. – Юляш, ты в курсе, что только в конце прошлого века установили: все питерские наводнения – проделки моря?

– Нет, – удивленно похлопала глазами девочка. – Я всегда знала, что это – Нева.

– Вот! – задрал к потолку гном крючок пальца. – Мы сумели сохранить тайну моря. Но эти недоумки, альдоги, призвали на помощь людей. Слабаки. Поняли, что самим с нами не совладать. Кишка тонка. Придумали соорудить тут оградительную мандалу.

– Что? – не поняла Юля. – Дамбу?

– Оберег, – пояснила женщина. – Сооружение, которое хранит от враждебных сил. То есть пришли к тому, с чего начали: город возник исключительно благодаря мудрости и предусмотрительности альдогов.

– Выкуси! – карлик вскочил с матраца и, зажав в кулак, выставил перед собой подвядший пук бороды наподобие скусившегося острия. – Если б победили альдоги, тут бы по сей день была Швеция! И никакого Петербурга!

– Как это? – ахнула Юля. – А в книгах... И в школе...

– Скажи мне, женщина, – патетически задрал голову Дека, – кто направил сюда экспедицию Биргера?

– Это даже я знаю, – улыбнулась девушка, – шведы.

– Ха! – уничижительно выхаркнул карлик. – Тем-то вы, глупые люди, и отличаетесь от нас, мудрых гномов, что елозите исключительно по поверхности, где все знание втоптанно в грязь. И только мы, цверги, подземные жители, способны проникнуть в суть вещей.

– Кончай митинговать, Дека, – попросила женщина. – Заканчивай свою лекцию, раз начал.

– Биргера послали альдоги! – торжественно провозгласил гном. – С единственной целью – построить тут город, то есть мандалу, то есть защиту от моря. Но мы смотрели дальше альдогов! И мы сделали ставку на русских!

– Как? – ахнули одновременно бабка и внучка.

– Так! – скривился цверг. – Призвали князя Александра. Он так вломил этому Биргеру, что у шведов до сих пор задницы болят! – Гном радостно и хрипло засмеялся. – Правда, потом альдоги взяли небольшой реванш: пока мы праздновали победу, шведы построили Ландскрону. Признаюсь честно: прокололись. Ландскрона, если б разрослась, вполне могла стать мандалой. Пришлось призвать Андрея Александровича с новгородским воинством. Что от этого «венца мира» осталось? Правильно, зола да головешки! С землей сравнивали, и шведский дух по ветру пустили! Ну а уж дальше – вопрос чисто психологического воздействия. Русские снова стали считать эти земли своими, что и требовалось, но о строительстве города даже не помышляли – какой город на болотах? Соорудили для острастки шведам крепостишку, назвали Ниен, вроде и городок с ноготок, а все – предостережение, – скромно, но весьма хвастливо закончил он.

– То есть альдоги ориентировались на шведов, а цверги на русских? – восхищенно покрутила головой Юля. – Вот это да...

– Дека, почему ты мне никогда раньше про это не рассказывал? – удивленно уставилась на карлика хозяйка.

– А ты спрашивала? – ворчливо огрызнулся тот. – Считаешь себя альдогом...

– Опять залезал в мои мысли? – ахнула женщина. – Ты же обещал!

– Дураком был, – искренне повинился старичок. – Влез бы раньше, уже просветил бы, чтоб ты девчонке мозг не выносила.

– А потом как все было? – нетерпеливо прервала разборку девочка. – Шведы наш Ниен разрушили и свой Ниеншанц построили! Большой город вырос. Куда цверги смотрели?

– Куда-куда, – сник карлик. – В школе, что ли, плохо училась? Шуйский, придурок, отдал. Мы, цверги, только по месту жительства работаем, на вашу Москву никакого влияния не имеем. Ну, воюет Россия с поляками, нам-то что за печаль? А Васька-недомерок, раз – и подписал Столбовский договор с Карлом. Все! Русские князья эту землю потом и кровью омыли, а Делагарди как по автобану на Мерсе проехался, без боя, победителем себя считал.

– Тоже альдоги постарались? – подозрительно уточнила хозяйка.

– Нет, – честно помотал головой Дека. – Они тут не при делах, чего напраслину возводить на невиновных? Подфартило просто. Конечно, альдоги, когда узнали, обрадовались, боялись моря-то, и сразу стали шведам помогать! Потому Ниеншанц так быстро и вырос.

– Как-то вы все время с переменным успехом, – раздумчиво пожала плечами Юля. – То цверги, то альдоги...

– Именно, – кивнул гном. – Но согласитесь, перетянуть на свою сторону Петра дорогого стоит.

– Петра?! – Юля недоверчиво прищурилась. – Цверги перетянули Петра?

– Здравсте! – гном язвительно расшаркался, элегантно крутнув бородой. – А то! Шведов выпер, Ниеншанц с землей сровнял. Ух, какой взрыв был, земля три дня дрожала! На Неве до самого устья двухмесячный лед...

– Петербург основал, – ехидно перебив, продолжила женщина. – Чем не мандала?

– Недооценили, – грустно согласился Дека. – Пока мы с альдогами выясняли, кто круче, Петр далеко вперед шагнул. Да так далеко, что мы только хвост увидели. Кому бы в голову пришло, что тут можно такую дуру выстроить? Да еще за такое время? Короче, промухали.

– Но ведь альдоги именно это и хотели, – уточнила Юля, – какая им разница, кто мандалу построит – русские или шведы? Значит, они и победили.

– Держи карман шире! – злобно ощерился карлик. – Петербург ничего общего с их мандалой не имеет! Он сам себе мандала, альдоги отдыхают. Наша-то злость понятна: едва мы в болотах обжились, а их уже осушают! Мы к пресной воде несколько тысячелетий привыкали, раз – нету! Второй раз родины лишились! Многие погибли, большинство в inferно ушли, я в черные альвы подался. Но от петровского размаха и альдогам-то не лучше пришлось! По Неве флот наладили шнырять, реки стали в камень заковывать, мосты взялись строить... Куда бедным альдогам? В Ладогу не вернешься, и тут жизни нет. Короче, от Петра всем досталось. Когда он город заложил, выброс энергий произошел – туши свет! Шарахнуло так, что мы с альдогами друг друга путать стали! Жесть. Но жить-то надо! Оклепались чуток и снова за дело. На то мы и цверги! К Петру все равно подход нашли. Через Алексея Петровича.

– Царевича Алексея? Сына? Так Петр же его... того... – Юля изумленно запнулась.

– Если бы Алексей Петрович не торопился, – грустно и мечтательно произнес карлик, – если б нас слушался, да если бы Брюс не вмешался...

– Брюс? Яков Вилимович?

– Он самый. Его вина, что Петр родного сына замочил. Иначе мы бы в этой дыре не сидели.

– А что было бы?

– Ничего! Пенилось бы тут родное наше море, ни людей, ни города, ни альдогов. Консервы!

– Какие консервы? – оторопела хозяйка.

– Она знает, – самодовольно кивнул в сторону Юли карлик. – Современный сленг.

– В этом случае надо было сказать «кайф», – автоматически поправила девушка. – Или – «Прикольно». А «консервы» – это совсем другое.

– Другое? – недоверчиво переспросил старичок. – А все остальное я правильно говорил? «Вынести мозг»? «Жесть»?

– Правильно. Я даже удивилась, что вы такие слова знаете.

– Меня вообще подчас ошарашивает его лексикон, – осуждающе вставилась хозяйка.

– Как же прикажете, мадам, мне с молодежью, общаться? – нарочито изысканно шаркнув ножкой, удивился гном. – Как историческую правду донести?

– Где же ты с ними собрался общаться, грубиян несчастный? – холодно осведомилась женщина. – Какую правду и до кого будешь доносить? Опять за свое? Стало чуть лучше, снова по головам шнырять начал? Свои мысли в чужие мозги втемашивать?

– Ничего я не начал, – карлик спрятал нос в бороде. – Куда мне? Это я так, для опыта.

– Смотри, – погрозила хозяйка, – отключу морозилки и гулять ночью не поведу.

– Ну и не надо! – гордо ответил гном и тут же дико закашлялся. Покрылся испариной, закачался и кулем осел на матрац.

– Перенервничал, – вздохнула женщина. – Это он из-за тебя так разошелся. Нашел, наконец, кому высказать все, что жизнью накоплено.

– Так это правда, бабушка?

– Не знаю, детка. Для тебя говорилось, тебе и решать. Я в то время тут не жила, многого не знаю. Сама сегодня, разинув рот, слушала.

Цверг снова скрипуче закашлялся, захрипел, замахал руками, будто загоняя в рот ускользающий воздух.

– Может, лекарств каких? – Юля присела рядом с обессиленным карликом, взяла в ладони его черную коряжистую ручонку.

– Нельзя ему лекарств, никакой химии нельзя. Сейчас льда свеженького принесу. Отойдет. Пусть поспит, устал ведь! Никогда не слышала, чтобы он столько говорил.

* * *

На кухне девушка помогла бабке вытрясти из формочек пристывший лед, подождала, пока лекарство отнесут Деке.

– Бабушка, а почему на улице он – собака?

– От безысходности. Как гулять вывести? В ребенка нарядить? А без прогулок ему никак. Вот я и вспомнила старые навыки, он не возражал. Даже породу вместе выбрали, чтоб не совсем чужая.

– Они что, все с крыльями?

– Да нет, что ты! Мой брак. Отвлеклась немного на первой прогулке, перевоплощение окончательно не завершила, хотела посмотреть, каково ему будет в новом обличье, а он простуженный был, циститом маялся. Ну и как кобелю положено, все время лапу задира. Я и ляпнула: домашешься, говорю, крыло вырастет. И так живо себе это представила... Оно и выросло. Правда, быстро спохватилась, тут же исправлять ошибку принялась. До конца так и не смогла. Теперь как выходим – завесу ставлю, чтоб никто крыло не увидал.

– Я же увидела.

– И слава богу. Значит, и ошиблась я не случайно. Иначе как бы мы друг друга узнали?

* * *

«Поистине апокалиптическая картина рушащегося жилого дома на Двинской улице в Санкт-Петербурге лишний раз дает повод поговорить о „проклятии“, связанном со всей историей этого города. Ученые утверждают, что по знаменитому Невскому проспекту проходит геологический разлом, из которого сочится и расползается по городу опасный для физического и психического здоровья газ радон, что само место, на котором построен город, считалось „гиблым“ среди племен, населявших эти земли. Если это так, то страшные легенды, связанные с Петербургом, получают научное обоснование. Вот предсказания Красной луны: „И горы возвысятся на костях людских... И вода станет метить бедой камень. И люди... почуют вкус многих бед...“ А вот пророчества странника Блаженного Никиты: „Запутанный город. Загубленные души и замутненные помыслы по его улицам витают...“ Или вот легенда о кровавом камне Атакане, который лежит на дне Невы и постоянно требует жертв. Или миф о Вещем Полыме,

который оставляет на зданиях надпись „Зрю огонь“, предупреждая людей о страшных пожарах. Или египетские сфинксы – „злая загадка, молчаливая смерть“. И даже безумная гипотеза о том, что сам Эдгар По искал в Петербурге одну из сокровенных Сивиллиных книг древних пророчеств, а потом написал свой знаменитый рассказ „Маска Красной смерти“, в котором посвятил городу строки: „И в миг, когда в пучину канут останк“. И, наконец, безуспешные поиски загадочной „Инкеримаанской заповеди“, предсказывающей судьбу Петербурга, где сказано, что у города „три терзающих беды“: злая вода, неукротимые огненные вихри, мор и голод». «Независимая газета», июнь 2002 г.

Дневник Романа, 02 июля

Весь день провел с Юлькой. Рассказал ей про глюк с мужиком. Не могу забыть! Она уговорила сходить на Тифлисскую. Недалеко, а я там ни разу не был. Думал, на практику в августе, успею. Дом такой – серая гробина. Книгохранилище. Реставрация со двора. Раньше тут был Гостиный двор, Трезини построил в 1722 году. На рисунке – типичное петровское барокко: русты, балясины, кровля в изломах. Открытые галереи со всех сторон. Теперь – барак. От Трезини ничего не осталось. Чего реставрировать? Сто раз перестраивали. После Трезини – Росси, потом основную часть здания вообще разобрали. Раньше фасад был 750 метров, сейчас осталось метров 100. Я эту практику выбрал, чтоб от сада недалеко. Из наших туда никто не пошел – неинтересно.

Юлька к мужикам пристала: расскажите, что нашли. Они и рады. Сука, пыль, жара, а тут девчонка хорошенькая. Хвосты распустили! Я угорал. А она глазками стреляет, хихикает. Противно стало. Я развернулся и ушел. Нормально, да? Пришла со мной... Все. Пошла она! Внешне ангелочек, а по сути – сука обыкновенная. Наши хоть целок из себя не строят.

Зов Атакана

В арочном окне гостиной – Нева. Дождит, тяжелые облака распухли от воды и грузно присели прямо на Петропавловку, скрыв от глаз и шпиль, и бастионы, и даже стены. Где-то наверху, в чреве одной из мокрых туч, зябнет Ангел. Ему неприятно и одиноко, и, наверное, трудно дышать, потому что вокруг сплошная мглистая сырость.

По Неве, не поспевая за течением, заторможенно ползет туман. Цепляется рваными рукавами за берега, оставляет клочки лохмотьев на парапетах, неуклюже подскакивает вверх, пытаясь соединиться с бредущей хмурией, не допрыгнув, плюхается обратно, разжиженно и огорченно.

Справа – Литейный мост. Однокрылая птица-калека на грязно-розовых озябших ногах. Со школы помнится: мост называли чудом технической мысли, громадное крыло вымахивает при разводке за две минуты на пятьдесят пять метров. Потом всю ночь так стоит – вертикальной стеной. Страшно: вес крылышка – почти три с половиной тысячи тонн, того и гляди – рухнет. Когда Литейный тяжело кряхтит вверх, слышно, как стонут от испуга несчастные русалки, навеки прикованные к решеткам скрещенными якорями.

Крылатые мосты, крылатые собаки...

Совсем недалеко от берега не замутненный туманом и дождем кусок Невы. Вода – тяжелого красноватого оттенка. Можно подумать – отблеск раннего рассвета, отражение розовых облаков. По времени – как раз. Но какой рассвет, если небо черным-черно, а потом, всем известно: река здесь такого цвета всегда. Даже зимой чудится, что лед подсвечивает изнутри красная зловещая лампа.

Сейчас в тумане сам мост почти неразличим, но ощутим – без сомнения. Не объяснить. Будто на месте моста или – вместо него – тревога висит в воздухе, всегда, никуда не исчезая, просто меняя цвет с рассветного на закатный, с солнечного на пасмурный, с зимы на лето, оставаясь все равно – тревогой. Но это пятно на воде видно в любую погоду: практически ровный круг с кровавым отливом, словно кто-то усердно дует сверху, не давая летучему мороку застить зыбкое зеркало. Точно – дует! По центру даже воронка просматривается. С краев круги широкие, сероватые с кирпичным отливом, ближе к центру спирали багровеют, как бы наливаясь спелой кровью. Странное место.

Юля вгляделась вниз.

* * *

Серо-синяя широкая река вольготно пенилась прямо перед глазами. Солнце, изредка промаргивающее сквозь низкое небо, освещало совершенно пустынный противоположный берег, поросший по кромке густым кустарником и кривыми увечными деревьями. Безлюдно и мрачно. Зато на этом берегу прямо перед носом стояли какие-то странные избушки. Землянки. Или сарайчики типа времянок в небогатых дачных поселках. Литейный мост вообще куда-то исчез. Трое бородатых мужчин в подвязанных веревками длинных рубахах, голоногие, волоком тащили к воде лодку. Четвертый нес плетеные корзины.

Все четверо забрались в посудину, оттолкнулись от берега. Река, вытянув из самой своей середины длинный и сильный язык волны, подцепила на него лодку и стремительно понесла. Рыбаки, Юля это поняла, никак не хотели плыть туда, куда несло течение, изо всех сил колошматя веслами тугую воду. Победила Нева. Лодка вдруг оказалась в центре странного тихого круга, аккуратно омываемого течением, крутнулась на месте и, перевернувшись, исчезла. Мгновенно и беззвучно. Ни всплеска, ни крика. Через секунду та же волна выбро-

сила наружу горбатую пустышку, и она поплыла, неуклюже качаясь, словно и не лодка вовсе, а какое-то бесхозное бревно, направляющееся к морю.

— А люди, как же они? — заволновалась Юля. — Рыбаки ведь! Должны уметь плавать! Почему не выныривают?

Атакан — пришло короткое объяснение.

И тут же плоский круг, где только что произошла трагедия, стал наливаясь багровым светом. Сильней, ярче, и вдруг — вспышка! Полыхнуло прямо по глазам. Больно, до слез!

Когда Юля проморгалась, картина внизу была совершенно иной. И день другим — солнечным, приветным, и вода — синей, ласковой. По реке шел пароход. Станный, будто игрушечный, с тремя трубами, плюющимися черной слюной дыма. Он весело разгонял по берегам воду и пушисто гудел, будто в его трюмах запечатали всех земных пчел. На палубе, загроможденной тюками, юный матросик драил казан. Пароходик поравнялся с деревянной пристанью, гуднул в знак приветствия. Матросик, узрев на берегу стайку девчат, замахал руками, и кораблик тут же приветственно подскочил на шкодливой волне. Парень стукнулся о тюк, перекатился через палубу и кулем свалился за борт. Тихо. Без единого булька. Суденышко посопело дальше, не заметив потери, лишь сбоку по ходу странно разошелся розовато-оранжевый круг.

Следующие картинки сменяли одна другую, как прокручиваемые взбесившейся кинокамерой: лодки, плоты, корабли проносились по реке, обязательно оставляя зловещей воронке чью-либо жизнь.

Берег голосил, оплакивая, малые дети цеплялись за подола безутешных матерей.

Явился мост. Станный, призрачный. Не нынешний, однокрылый, даже не прошлый, многократно виденный на картинках. Иной. Вроде деревянный, с сучковатыми перилами и горбатой спиной.

Мост парил над рекой, не соединяя берегов. Неожиданно ближний его край вдруг начал удлиняться, как стремительно вырастающее щупальце, когти горбылей намертво вцеплялись в берег. На мост радостно бежала ребятня, гикая и подгоняя друг друга, добежала до противоположного края, не подозревая, что там — конец, и оловянными солдатиками уходила в воду. Так же — без всплеска и крика.

После того, как последний пацан исчезал в воде, щупальце моста скукоживалось, втягиваясь обратно, а сам горбун, окутавшись багровым плотным туманом, исчезал, превратившись в невинную низкую тучку.

Едва отлетев от места рождения, туча проливалась мрачным дождем, испаряясь, а там, куда упали темные капли, закручивалась багровая воронка, из жерла которой вдруг с шипением вырвался коричневатый дымок и вошел прямо в висок.

Стало страшно. Даже жутко. Дико разболелась голова. Дым, заполонивший череп, отяжелел и теперь рвался наружу, мощными толчками пытаясь пробиться сквозь затылок. Кости трещали, расслаиваясь. Острые осколки впивались в мозг, протыкая его насквозь и буравя болью глаза. Комната наполнилась гулом голосов: требовательных, раздраженных, злых. Вдруг шум разом оборвался, словно закрыли звуконепроницаемую дверь, и послышались спокойные тяжелые шаги.

* * *

Яков Вилимович вернулся с просеки.

За ее прокладкой к Большой Перспективной дороге он следил сам: не дай бог, повторится конфуз, как с самой Перспективой. Хотел Петр Алексеич проложить ее по линейке от Невы до Александро-Невского монастыря, поручил от реки вести дорогу пленным шведам, а от монастыря, понятно, монахам. И точку встречи наметили — Ерик безымянный. Кто

напортчил – известно. Монахи против намеченного к Новгородскому тракту влево ушли, бражничали, видать, втихомолку, вот зенки-то и окосели. Спихватились поздно. Вышел у Першпективы загиб. Да такой неудачный, не выровнять. Петр Алексеич ух как разгневался, велел монахов прилюдно высечь. Высекли, несмотря на сан.

Воля царя на земле – воля Божья. Помазанник. Так что за строительством Литейной Першпективы надо пуще глаза глядеть, чтоб беды не вышло. Не его это дело – дорога, его – артиллерийское ведомство, а не присмотришь – себе дорожке. Литейный-то двор разрастается, любо-дорого! Был один анбар, а теперь – и кузни поют, и слесарни визжат, и токарни шипят! Лафетни стучат, паяльни дымят – все во славу русского оружия!

Не поехал бы сегодня, так еще дня три возле слободы литейщиков канителились. Не хотят бабы со скарбом на новое место съезжать, и мужики гундят – в мастерские далеко ходить.

Фимка Ручкин, балабол, крамолу высказал: зачем подле Невы дворцы строить, когда там рабочее место? Дворцы, дескать, на месте слободы, в глубине ставить надо, а рабочих, наоборот, ближе к мастерским селить. Дурень, что взять? Не был бы Фимка мастеровым высшей пробы, приказал бы батоги раздавать. А так пришлось стерпеть. Дула лучше Фимки никто не льет! Ни трещинки, ни пузыря – залюбуешься, какие дула. Сам Петр Алексеевич Фимку хвалит, вот и обнаглел мужик.

Пришлось как детям малым разъяснять, что такова воля помазанника – у реки знать селить, чтобы возводили по берегам дворцы для украшения города. Хорошо, в это время Трезин подъехал (этого трудягу в Петербурге только слепой не знает! С утра до ночи носится по городу, кажись, ни один кирпич без его ведома не положат!), разъяснил смутьянам, какой станет Литейная першпектива вскорости: вы же, говорит, жен себе пригожих лицом выбираете, так и городу положено приятную внешность иметь. Красные линии царь сам намечает, чтоб лучшие дома равнялись по линейке – вдоль реки да у дорог, а не в глубине, как в той же Москве, где их и не видать.

Петербург – город особенный, европейский. Здесь никакое самовольство недопустимо, не для того закладывали! Хочет Петр Алексеевич, чтоб все богатые дома из камня возводились, на века, значит. А где того камня набраться? Трезин и тут выход нашел: кирпич! Чем не камень? Одно слово – гений. Сам Брюс с домом не торопится. Есть временный, тут же, рядом с Литейной частью, пока хватает. Постоянный строить – царя не уважить. Камень для Литейного двора нужен, не изымать же на собственные палаты. Успеется.

– Батюшка Яков Вилимович, решили чего? – старшина плотников Симеон Рогожин виновато мнет ручищами шапку. – Не обойти окаянного! И злодейство от него исходит, аж до слабости в членах! Разреши анбар в другом месте поставить, подалее, чтоб с глаз долой! Бегут от меня мужики-то, надясь снова двое утекли. Боятся. Нечистый дух, говорят, в нем живет. И сам чую: то голоса в ушах звенят, будто поют, как дьячок за гробом, то кики-мора померещится, словно девка ядреная, зовет, манит. Петьку-то Рыжего так и увела, сгиб парень... Или дозволю мы этого вражину в реку спустим, чтоб булькнул и каюк!

– Надоел ты мне, Симка, – Яков Вилимович вздохнул. – Дался тебе этот камень! Нельзя его трогать, понимаешь? И анбар твой уже два раза переносили. Куда еще? Может, в мои покои? Иди, надоел! Валуна-то от тебя и не видать! Кузня перекрывает!

– А когда лес ловим? – нашелся Симеон. – Аккурат возля. Батюшка Яков Вилимович! Не я один – обчество просит! Дозволь в реку сбросить!

– Да как сбросите-то? – удивился Брюс. – Он же в землю врос по шапку! И тяжести неподъемной.

– Справимся, – уверил плотник, – только дозволю.

– Не справишься, выпорю, – нахмурился Брюс, подавляя смех. – Иди, надоел.

Счастливым плотник, зажав в кулаке бороду, рванул к себе, Брюс же еще немного помедлил, цепко осматриваясь: не стоит ли где работа, не отдыхает ли кто неурочно. Уверен был: камень рабочим не под силу, не дастся. Валун непростой – вечный, философский, и нутро его, угадал Симка, черным-черно от крови. Сейчас он затаился, чтоб не трогали, а ну как проснется? Да снова крови потребует? Зреть ему еще долго, значит, время от времени кормиться надо... Прав плотник: на дне Невы самое ему место, подальше от людей да поглубже. Пусть бы лежал там в покое и созревал. Глядишь, и народ успокоится, о кикиморах да бесах болтать перестанет. Литейный двор все одно расширять надо. Не плотники, так кто другой про камень вспомнят...

– Прохор Петрович, – окликнул он помощника, спешащего в кузню с чертежами, – собери сегодня десятников да старшин, скажи, валун в реку сбрасывать будем.

– Как же, Яков Вилимович, – поразился Прохор. – Его ж вначале отрыть надо, а вдруг это вообще – скала?

– Откуда тут скала, Проша? – поморщился Брюс. – Ты же образованный человек, в грунтах разбираешься... Скликай народ к ночи, сам руководить приду.

* * *

В детстве бабушка рассказывала – вдруг вспомнилось.

Почему? Именно сейчас – почему?

Ребенком привыкнув и к этому пятну, и к мосту, и к тревоге, она не замечала всего этого. И в Москве не вспоминала. Как, впрочем, и бабушку. Сейчас словно голос ее услышала: «Это камень Атакан, Юляша».

Атакан... Лежит глубоко на невском дне, почти в море-океане и чавкает из самой преисподней окровавленной пастью.

– Давным-давно, когда ни тебя, ни меня на свете еще не было, и города не было, жили тут дикие племена. И поклонялись они страшному камню, который прозвали Атакан, значит – «Кровавый».

– Почему кровавый? Он злой волшебник?

– Очень злой. Питался тот камень человеческой кровью. Не дадут пищи, найдет Атакан на людей болезни и беды, заставит враждовать и воевать, чтоб насытиться. Приходилось людям приносить человеческие жертвы, чтоб задобрить чудовище. Перессорились все, стали друг друга бояться, улыбаться разучились. А камню все мало.

– Кашки бы ему сварили и накормили.

– Не признавал Атакан ничего, кроме крови.

Маленькая девочка сидит на подоконнике, за коленки ее придерживает женщина, смотрят вниз, на реку. На небе – солнце, Нева ярко-синяя, праздничная, по Литейному мосту торопятся автомобили, на набережной много людей.

– С камнем ничего нельзя сделать? – Девочке страшно, она боится смотреть вниз. – Как дали бы по нему молотком! Разбили на мелкие кусочки.

– Нельзя. Стало бы много маленьких атаканов, потом бы выросли... Люди поступили по-другому. Принялись молиться Богу, чтоб избавил от напасти, утихомирил злодейский камень.

– Избавил?

– Конечно. Приказал Бог Неве выйти из берегов и смыть Атакан.

– Как? Он же тяжелый.

– Река сильнее. Видишь же, ничего сейчас на берегу нет.

– Он больше не вылезет наружу? – Девочка облегченно выдыхает и снова припадает к стеклу.

– Никогда. Только красным светом из глубины пугает, чтоб люди помнили: ссориться и враждовать нельзя.

– И обижать друг друга...

– Правильно, моя умница.

Женщина целует девочку в торчащую коленку, и Юля вдруг ощущает под тугими джинсами ласковое прикосновение губ.

Это же я... – вдруг понимает она. И бабушка. Моя бабушка! И голос... Бабушкин голос! Звучит в ушах, будто все это происходит здесь и сейчас.

* * *

Бабушка погибла вместе с мамой, в одной машине. Давно. Юля еще не ходила в школу. Мамино лицо не забывалось: в доме было достаточно фотографий, а бабушкиных – ни одной. Отец сказал, что бабушка никогда не снималась. Почему? Он вообще не любил о ней говорить. Как-то обронил, что бабушка была против их брака с мамой. Видно, до сих пор держал обиду.

Юля вошла в свою комнату, остановилась перед портретом мамы. Долго стояла, пытаясь понять, похожа ли на нее бабушка из недавнего видения. Выходило – похожа, очень. А Юля очень похожа на маму. У всех троих серые, заметно приподнятые к вискам большие глаза, узкие скулы с чуть втянутыми щеками, будто впалыми, яркие губы, малость растянутые, уголками вверх, словно все время улыбающиеся. Светлые волосы.

Конечно, если б мама и бабушка были живы...

Юля возвращается в гостиную. Картинка за окном совсем расплылась, словно одно из облаков прилипло к фрамуге и теперь настырно лезет в глаза, стекая по щекам обжигающими ручейками. Промокнув щеки портьерой, Юля проводит ею же по стеклу, стирая облако.

Туман немного разошелся, и дождь вроде бы перестал. Таинственный круг у моста прояснился окончательно: еще больше побагровел, согнал от краев к центру буро-красную массу и теперь закручивает ее в тугой хвост, утягивая вниз, будто старается уничтожить следы.

Над водой, точнехонько над центром воронки, на высоте примерно половины все еще стоящего торчком Литейного крыла, висит, как приклеенный, перевернутый мерцающий конус – песочные часы, утопленные по перепонку. Плоская крышка слабо пульсирует фиолетовыми вспышками, гладкое, как бы стеклянное тело светится жемчужно-серым. Раз – и все пропало – темно. Хлоп – снова засветился. Как кто щелкает тумблером, включая и выключая подсветку. В моменты темноты из острия конуса, вернее, из того места, где оно только что просматривалось, в сердце багрового круга утыкается розовый луч. Будто конус выпускает трубу, чтобы втянуть в себя Неву, или наоборот: вода заманивает пульсирующее нечто в свои бездонные глубины. НЛО?

* * *

Интересно, кто-то еще видит ЭТО? Юля попыталась оглядеться – глаза не послушались. Конус, луч и воронка притянули, словно приклеили или прибили гвоздями: весь мир сжался до размеров этого маленького кусочка пространства, в котором – единственно – и происходила жизнь.

Откуда-то сбоку, кажется, из левой фрамуги, вполз и стал лениво закручиваться вокруг тела странный голубоватый дымок. Ноги сделались ватными, пришлось присесть на подоконник, чтобы не плюхнуться на пол. С удивленной опаской Юля наблюдала, как ее опле-

тают колышущиеся мерцающие нити, образующие жемчужный, в цвет конуса над рекой, кокон.

Одновременно выяснилось, что кто-то прячется за спиной. Чужой взгляд, настойчивый и требовательный, прожигал кокон насквозь, оставляя по всей длине позвоночника оплавленные круглые дырки, в которые немедленно вползал загадочный дымок, обжигающе-влажный, словно вскипающий. Горячие гулкие пузыри, как сумасшедшие, принялись скакать по всему телу, колко лопааясь и обваривая кожу.

Невероятным образом кокон с Юлей внутри вдруг изогнулся, вытянулся и соединился с конусом. Сверкнула яркая белая вспышка, тут же разбежалась на миллиарды перекликающихся огоньков, немедленно сцепившихся в огромный радужный шар, внутри которого оказалась девушка.

Как красиво! словно внутри мыльного пузыря. Рома бы оценил как художник.

И тут же ощутила, что и сама растворяется, превращаясь в одну из радуг, составляющих сферу.

Юля, сидящая на подоконнике и Юля, парящая среди радуг, представлялись совершенно автономными, незнакомыми друг с другом, и в то же время это был один и тот же человек, испуганный, но реально и здраво ощущающий себя в двух ипостасях одновременно.

* * *

– Яков Вилимович, так это вы Атакан в Неву сбросили? – поразилась Юля. – А мне бабушка рассказывала, что волной смыло.

– Бабушкам положено чадам сказки рассказывать, – проронил Брюс.

– Так народ гибнет! Я видела!

– Больше б сгинуло, ежели на берегу остался. Зреет Атаканушка, зреет, вот и требует пищу... Мстительный он.

– А что будет, когда созреет?

– Рай земной наступит, – не то серьезно, не то издеваясь, потупил глаза Брюс.

– Не мели чушь, Яша, – возник вдруг чей-то женский голос, очень знакомый, вроде совсем недавно слышанный, – отпусти девочку, – и уже к Юле: – Дай руку, держись!

Голова страшно закружилась, обморочно, до тошноты. Понеслись жуткой каруселью дома, берега, корабли, люди, втягиваясь куда-то внутрь, в какую-то свистящую трубу. Туда же стремительно всасывался воздух. Подоконник заходил ходуном, будто дом пинал невидимый великан. Дышать становилось все труднее. Еще секунда – и воздух кончится совсем.

Секунда минула. Юля открыла рот, пытаясь ухватить остатки жизни и кулем свалилась в бездонную черную яму.

Ударилась плечом, головой, коленом и – умерла. А воскресла, когда кто-то сильно дернул за руку и приказал: вставай!

* * *

В сумраке прорисовались стены знакомой комнаты, светлые полукружья окна. Тело побелело, ушибленные места онемели от неподвижности и теперь нещадно зудели, прорастая миллионами раскаленных иголок.

Встала, оперлась о подоконник. На странно запотевшем стекле центральной, самой широкой, части окна вились ровные строчки:

«Камень, который отвергли строители, сделался главою угла: это – от Господа... Всякий, кто упадет на тот камень, разобьется, а на кого он падет, того раздавит...»

Буквы были красивыми, словно прорисованные пером, и необычными, будто из старинной книги.

– Кто это написал? – спросила Юля. И увидела, что туман на стекле истает вместе с буквами. – Стойте!

Сквозь совершенно чистое окно сиреневела петербургская ночь. Ясная, промытая влагой, с улыбками фонарей на набережной и надменно откинутым крылом Литейного моста.

Катастрофически захотелось спать. Немедленно. Тут же. Какой там сделать четыре шага до дивана!

Девушка опустилась на колени, прижалась спиной к холодной батарее и почувствовала, что ее затягивает в недавнюю воронку, только теперь та сделалась ласковой и теплой, качает, будто баюкают любимые руки.

– Бабушка... – прошептала Юля.

И тут же увидела Рому.

Дневник Романа, 03 июля

Дал же себе слово. И что? Из-за этой малолетки снова употребил. Надо кого-нибудь найти, срочно трахнуться и забыть. Не нашел. Зато грибочки были.

Вроде выспался нормально. Просыпаюсь – кто-то за плечо трясет. Глаза продрал – тот же мужик в шляпе. На моей кровати сидит. Канава. Серьезный, злобный. Ты, говорит, паршивец, талант свой губишь, недостойн числиться моим потомком.

Я пригляделся, и холодный пот прошиб: батя! Один в один. Даже ирам на переносице.

С того света пришел меня на путь истинный направить?

Приехали.

Это потом дошло, а сразу я по чесноку перепугался. Говорю, батя, это ты? Он встал, пальцем погрозил и к двери. На ходу оборачивается: герб разгадал? Я опять ничего сказать не могу. Он раз – сквозь дверь. Я потом проверил: как была на замке, так и есть.

Скучаю, что ли? В старших классах, когда дома жрать нечего было, я его ненавидел, считал слабаком. Потом прошло. Когда мать пускается в воспоминания, слушать все равно не хочу. Помню его плоховато. А сегодня весь день колбасит! Представляю, что было бы, если б он был рядом. Хорошо. Наверно.

Отель Трезини

С крыши сбрасывали железо. Листы, легкие, как праздничная фольга со свистом слетали по одному, сверкая на солнце богатым серебром; на уровне третьего этажа они начинали тяжелеть и легонько подкручиваться. Долетая до второго, убыстрялись, будто на них внезапно прыгала тяжелая масса застоявшегося во дворе-колодце воздуха, кривились, ломко морщились и хрипло шлепались на асфальт, возбуждая раздраженный ропот ранее упокоившихся собратьев.

Свист и грохот, от которого свербело в окнах и голове, весело перекрывался непонятными выкриками, множившимися в трубе двора до шума толпы. На самом деле кричали всего четверо – два парня наверху, разоряющие добротную трехлетнюю кровлю, и два внизу, принимающие никуда не годное железо. Мгновенная метаморфоза: качественная крыша, которая могла бы служить еще не один десяток лет, стараниями веселых гастарбайтеров, ни бельмеса не понимающих по-русски, превращалась в металлолом, место которому исключительно на свалке.

Зачем творилось сие бесчинство – вопрос не вставал: дом готовили к расселению. Жильцы наивно, хоть и с печалью, полагали, что городские власти вдруг озаботились состоянием памятника архитектуры, который за два года до кончины Петра по высочайшему императорскому указу взялись строить за счет казны для любимейшего царского зодчего – Доменико Трезини, кокетливо расцветившего невские топи изысканным барокко. Особняк, сооружаемый по проекту самого Доменико, должен был стать не просто жилищем, а полнокровным украшением набережной, бриллиантом в оправе отборных жемчужин дворцов и окантовке белого речного золота.

Трезини мыслил дом двухэтажным, на высоком подвале с нарядным глазастым мезонином. На набережную – широкая лестница как две гостеприимно распахнутые руки, меж стройными белыми колоннами – венецианское полукружье входа. Хорошо, наверное, жилось бы ему в том доме: в широких окнах синяя Нева с радугой парусов, над нею – просторное голубое небо, вокруг дома – сад с розами и акациями. Даже розы в оранжерее у Александра Даниловича присмотрел – меншиковский садовник-кудесник вывел: особые жемчужно-пыльные, словно по лепесткам – розовым, бордовым, желтым – посыпали инеем из глубокого погреба.

* * *

«Обещаю господину Трецину, архитектонскому начальнику, родом итальянцу, который здесь служит датскому величеству и ныне к Москве поедет служить в городском и палатном строении.

За художества его, совершенное искусство, обещаю ему 20 червонных на всяк месяц в жалованье и то платить ему во весь год, зачинаючи с 1 числа апреля месяца 1703 года и то доведется ему платить сполна на каждый месяц, подобающими и ходящими деньгами, по той же цене, как за морем ходят, сиречь по цене в 6 любских и всякой червонный такожде в дацкой земле такую цену подобает имети.

Именованному Трецину сверх того обещаю, как явно показал искусство и художество своего, чтоб ему жалованья прибавить.

Обещаю также именованному Трецину, чтоб временем не хотел больше служить или если воздух зело жесток здравью его, вредный, ему вольно ехать куда он похощет.

Именованному так же доведется давать 60 ефимков по цене как в дацкой земле на подъем к Москве и тех денег ему на счет не поставить, а как он служить больше не хочет, опять ему на подъем с Москвы толико давать и ему вольно с собою взять, что он здесь наживет, а будет ли он еще на время болен был, ни меньше того жалованье ему давать...»

Из «Договора, учиненного 1 апреля 1703 года с господином Трецином, уроженцем кантона Тессин (в Южной Швейцарии)»

Андрей Измайлов, русский посол при дворе датского короля Фредерика IV

* * *

Мечта о собственном доме жила в трудяге-итальянце давно, да все руки не доходили. Когда? Сначала – Кроншлот, потом – Нарвские укрепления, а тут и дело всей жизни – Петропавловскую крепость в камне заложили... В промежутке – Летний да Зимний дворцы для государя, проект Александро-Невского монастыря, Гостиный двор на Стрелке, не считая построек на нынешней Дворцовой набережной и домов на Петербургской стороне. Из всех трезиниевских жилых строений выжил лишь куций домик тут, на Васильевском, угол двух переулков – Тучкова и Волховского.

Спал ли он? Ел ли? По правде, Доменико всем строительством в Петербурге руководил. Доверял ему Петр, как себе. Одна порода: трудяги! Как таких сейчас называют? Трудоголики? И ведь еще самый первый архитектурный конкурс выиграть умудрился – замахнулся на главное в России правительственное здание – Двенадцать коллегий. И возвел!

Рядом с царем столько лет, а ничего не просил. Счастлив был обилием работы и гордостью за растущий город. Императрица Екатерина после смерти венценосного супруга пожаловала верному Трезину чин полковника да жалованье прибавила – произвела в дворяне.

Каждый божий день Доменико приходил на стройку своего дома, благо, жил неподалеку, на Второй линии, у нынешнего Среднего проспекта. Тогда, конечно, проспекта еще не было. Да и вообще мало что было. Начало.

Почему-то начало помнилось лучше всего, хотя жила она вовсе не тут. Интересовалась – да. Полагалось.

Насладиться своим жилищем Доменико не удалось – ушел в иные веси. Дом держался за вдовой, а уж потом пошел по рукам. И в плане хозяев, и в плане перестройки.

Воздушный глазастый мезонин заменили тяжеловесным третьим этажом, это еще до того, как Боссе тут поселился, потом стали «улучшать» фасад, будто гениальное можно улучшить! Получилась каша с сапогами. Помнится, даже Нахимов, не флотоводец, брат, вице-адмирал, что тут проживал, ором орал, грозился руки повыдергать!

Каре, в котором она живет, пристроили много позже, в девятнадцатом веке. Новые строения приклеились к особняку, будто выросли из него, как неурочные ветки посреди гладкого сформировавшегося ствола: поначалу неуместны, коряжисты, привыкнет глаз – словно бы всегда и были... Последнее надругательство свершили недавно, после Великой Отечественной: распустили по фасаду сопли – накладные деревянные пилястры – кому-то показалось – красиво. Ажурную лепнину, чтоб не реставрировать, скололи...

* * *

Вчера ночью дом пожаловался, что чувствует скорый конец...

* * *

Дом Трезини состоял сплошь из богатых квартир – место обязывало. После бестолковых октябрьских событий, которые кроме как кровавым недоразумением и назвать-то нельзя, хоромы с мраморными каминами взялись уплотнять, преобразуя в коммуналки, а уж после блокады, когда законные жильцы оказались кто в эвакуации, а большинство – на Смоленке, в старинные апартаменты ввалилась беда в обличье горластой, неумной до скандалов и пьянства деревенщины из новгородско-псковско-вологодских глубин, прибывшей заселить опустевший город и возродить гиганты советской индустрии. Гиганты возрождались, каминный мрамор пропивался совсем недалеко, в Академическом саду, немыслимой красоты лепнина стыдливо морщилась и опадала белыми слезами от обильно летающих матов, ухватов, воплей, а то и чугуновых сковородок. Парадные превратились в сплошные отхожие места, на утопанных до пыли дворовых клумбах белыми прозрачными ночами вольно храпел и пукал не осиливший лестниц уставший от вина пролетариат.

Очередное внутреннее перерождение, названное по-модному «реконструкцией», дом пережил уже после Московской олимпиады. Из громадных хором нарезали неуклюжие мелкашки и заселили очередниками. Бывших жильцов приняли лишь три-четыре квартиры. Одна из них, двухкомнатная, неумело выкроенная из прошлой девятикомнатной громадины, досталась ей. Повезло. Три окна в кургузый двор на тыльную часть Дома Трезини. Саму трезиниевскую часть реконструкция обошла, поскольку из-за смертельных трещин в фундаменте особняк требовал полноценной реставрации. Ее гарантировала фирма, взявшая «Трезини» в аренду под люксовый отель.

Окна на Неву и Благовещенский мост, справа – Финский залив, слева – Эрмитаж, внизу – Сфинксы, наискось – Медный всадник и золотая шапка Исаакия. Почти все питерские красоты в одном флаконе. Исключительная панорама. И такие же перспективы.

Увы, арендованный особняк оказался весьма невелик, и дабы деньги текли неиссякаемым потоком, решили, во-первых, возвысить его мансардой, прибавив к имеющимся видам панораму Петропавловки, и, во-вторых, прихватить жилое каре, то есть «оботелить» весь трезиниевский квадрат.

Строптивые жильцы, однако, принялись резво возражать против строительства мансарды и собственного переселения в экологически чистое Девяткино. Фирма и по-хорошему уговаривала, засылая в квартиры улыбчивых тетенок, и деньги предлагала, и общие разъяснительные собрания проводила, да не где-нибудь, а в милицейском участке – тщетно! Выход оставался один, малоприятный, но беспроигрышный: объявить дом аварийным и расселить упрямцев принудительно.

Разбор добротной кровли, последовавший после сильнейшей «протечки» на четвертом этаже, был очередным пунктом тщательно выверенного плана, согласованного с кем надо. Поломка «ураганом» кровельных телевизионных антенн, авария на домовом газопроводе, отправившая несколько жильцов в больницу с отравлением, внезапно проявившийся и распространяющийся по парадным со скоростью света опасный черный грибок, странные самовозгорания в нечаянных местах и бравое тушение огня путем тотального заливания здания – уже были успешно реализованы.

В дом зачастили комиссии, каждая из которых составляла печальный акт о «невозможности устранения». Жильцы занервничали, осознавая, что вместо Девяткино, где есть

хотя бы метро, заботливое городское правительство сошлет несогласных оздоравливаться вообще за Кольцевую, куда-нибудь в Янино.

Ее никто не трогал, не то чтоб не хотели связываться, просто в виду не имели. Зачем тратить время на одинокую старуху? Сама переселится на новое место, фирма даже похороны оплатит! Остроумные арендаторы «Трезини» шутили именно так. Она не сердилась – готовилась умереть. В своем доме, где прожила почти всю жизнь. Эту, последнюю, выдавшуюся из всех предыдущих самой никчемной и оттого невероятно затянувшейся. Не терпелось ее закончить, завершить: накопившаяся усталость от бессмысленности существования с каждым днем давила сильнее, не давая подчас открыть глаза навстречу свету. Она так и ловила его сквозь смеженные веки, уже не радуясь, а просто отмечая наступившую погоду.

* * *

«Президент Российской Академии художеств Зураб Церетели обратился к губернатору Петербурга с предложением разместить в знаменитом Доме Трезини Музей современного искусства».
«Час Пик», 1998 г.

«Губернатор Владимир Яковлев и посол Швейцарии в РФ Йоган Бухер приняли принципиальное решение о размещении генерального консульства Швейцарской Конфедерации в Петербурге. Посол подтвердил намерение Швейцарской стороны выкупить у города так называемый Дом Трезини. После капитального ремонта, расходы по которому берет на себя швейцарская сторона, здесь разместятся генеральное консульство и культурный центр Швейцарии. По плану реставрационные работы должны быть окончены в 2001 году».
«Вечерний Петербург», апрель 1999 г.

«Весной нынешнего года дом 21 по Университетской набережной был передан ООО „Остров“ в аренду сроком на 10 лет при условии скорейшего выполнения капитального ремонта. В 1981 году дом был расселен, в 1995-м включен в федеральный реестр памятников истории и культуры, но во время недавнего пересмотра списков переведен рангом ниже – в категорию местных памятников. Ремонт фасадов планируется осуществить к юбилейным торжествам, сама гостиница откроется летом 2004 года.

Инвестиции в реконструкцию дома составят около 1 млн долларов».
«Деловой Петербург», декабрь 2002 г.

«Катастрофическая ситуация сложилась с одним из старейших памятников архитектуры северной столицы – домом Трезини на Васильевском острове. По заверениям инвестора, ООО „Остров“, строители приступили к реконструкции, и уже через полтора года здесь откроется пятизвездный отель».

Балтийское Информационное Агентство, декабрь 2006 г.

«Знаменитому „Дому Трезини“, благополучно пережившему все эпохи Петербурга, грозит гибель. Инвестор, ООО „Остров“, вместо обещанной в 2006 г. реконструкции ограничился лишь возведением вокруг здания строительных лесов. Заканчивать реконструкцию собирается другой

инвестор – ООО „Отель“. С 2002 года Дом стоит с заколоченными окнами, входная дверь наглухо заварена».

Фонтанка.ру, июль 2008 г.

«Нынешний вид дома Трезини остался после советской реконструкции 1949 года. Но если снаружи здание смотрится более-менее крепким, то внутри него царит хаос. Некоторые межэтажные перекрытия вообще обрушились. Неудивительно, что здание признали аварийным. Такие заброшенные дома чаще, чем другие, приглядываются инвесторам. Ведь предоставляется шанс, что Комитет по охране памятников разрешит снос. Правда, в случае с домом Трезини до „разборки аварийных конструкций“ дело не дойдет.

Разумеется, некоторые изменения в облике дома произойдут. Куда в наши рыночные времена, когда земля на Васильевском острове стоит бешеных денег, без дополнительных площадей? Но двор застраивать нельзя, да и углубиться не получится. Решили, что соорудят полноценный мансардный этаж. Всего в доме Трезини появятся около 35 номеров уровня „три звезды“.

Дворовыми флигелями дом выходит в параллельный Академический переулок, и в этих флигелях по-прежнему живут люди. Их никто переселять не будет: гостиница расположится только в лицевом корпусе».

«Санкт-Петербургские Ведомости», сентябрь 2008 г.

Подарок другу. 25 декабря 2013 года Правительство Санкт-Петербурга разрешило ООО «Отель» оформить Дом Трезини в собственность, якобы на основании выполнения ООО «Отель» обязательств по инвестиционному договору.

3 апреля 2014 года произведена государственная регистрация права собственности за № 78-78-33/006/2014-176.

Ранее было известно, что этот дом сдан в аренду на 49 лет. И вот он просто подарен.

Все делалось настолько тайно, что даже ГУЖА Василеостровского района об этом не проинформировали.

ООО «Отель» принадлежит известному лицу – Евгению Пригожину, которого называют другом президента и личным поваром Путина.

www.facebook.com 2014 г.

* * *

Внизу, в точно такой же квартире второго этажа, снова что-то не ладилось. Раздражение и злоба прошибали бетонные перекрытия, рассредоточиваясь по углам удушливыми темными космами пыли. Бомбисты, так она окрестила нижних квартирантов, двадцатилетних, примерно, парней, по виду – обычных студентов, второй месяц пытались собрать самодельное взрывное устройство. Жили они вдвоем, но пару раз в неделю навевались гости – человека три-четыре. Тайная организация, поставившая своей целью очередное переустройство мира. Сколько таких пережил город? Не счесть... С некоторыми из «революционеров» ей довелось быть знакомой лично. Никакого удовольствия от тех встреч не осталось. Люди, алчущие чужих смертей, редко бывают интересными в жизни. Желание убить – всегда от

убогости и никогда – от силы. У этих, нижних, она знала наверняка, ничего не выйдет. Потому и не беспокоилась.

Хотя внезапно разорвавшийся под полом снаряд для нее был бы лучшим выходом. Прервал бы никчемность сегодняшнего пути и вернул домой, куда она так стремилась. Уйти самой нельзя. Неподготовленный уход – внезапная смерть или самоубийство – исключались, поскольку образовывалась брешь. Незаметная, неощутимая, но – брешь, пустота, которая, уж таково ее поганое свойство, непременно начнет шириться и расти, вышелушивая, словно время из ветхой стены, малые крохи – камушки, песчинки, пыль, составляющие одно бесконечно большое – душу города.

Давным-давно, юная и любопытная, она согласилась на это сама, плохо представляя, на что идет. С тех пор Нева унесла миллиарды тонн воды, вырос город, сменилось несколько эпох, а она так и пребывала тут, уходя, возвращаясь, снова уходя. Менялось все вокруг, преобразалась и она с каждым новым приходом, оставаясь, тем не менее, одной из констант, составляющих великолепную живую данность с именем Петербург. Их было много, кто вместе с ней с самого начала по стежочку, по бисеринке бережно и любовно ткал прекрасное полотно сущности этого города. Многие останутся здесь и после, многие – уже ушли. Одни – призванные к иному служению, другие – нелепо или трагически погибнув, не успев наполнить собой новую душу. Особенно много таких смертей случилось в блокаду, тогда сверкающий жизнью и светом холст покрылся седой сеткой несмываемой скорби, стал черно-дырчатым, как траченная временем губка.

Она чудом удержалась на поверхности, едва не став очередным черным проколом. До сих пор перед глазами стоят синие ладожские льды и два живых факела – горящие мужские руки. Шофер Анатолий, зажавший зубами собственный валенок, чтоб замуровать свой же животный стон, обнимает пылающими ладонями задохнувшийся от мороза движок полуторки. В машине, загложшей посреди озера, продукты для умирающих от голода ленинградских детей. Анатолий пытался разобраться с поломкой, да ладони намертво приклеились к жадному металлу... Другого способа отогреть мотор он не нашел. Крикнул: плесни соляры из бидона! И сам – зубами – зажег спичку...

Запах паленого мяса забивал тошнотой нос, вырываясь наружу прогорклым спазмом. Она безумно хотела ему помочь – заставить мотор ожить! Горели руки, она горела вместе с ними, тоже превратившись в факел. А потом совсем уж из последних сил заглатывала в себя невыносимую боль Анатолия, чтоб тот смог довести машину. Дети, которым они везли продукты, выжили. Анатолий – нет. Умер в госпитале от гангрены. Она, отдав той ночью все силы до последней капельки, беспamięтно провалялась несколько месяцев в рыбацкой избушке у ветхого дедка, отпоившего ее неведомыми кореньями. Дедок не дал ей умереть в ту ночь, потом вернула к жизни Ладога, хорошо помнившая ее первый юный приход.

После войны полотно городской души пришлось долго и трудно штопать, чтоб не разъезла, поганя ржавой злобой, вездесущая нечисть. Приходили новые души, много, но – сплошь неопытные, как она сама когда-то, не знающие города, еще не умеющие его любить. Любовь придет, как за ночью утро, безусловно, но это – время, а пустот расплодилось столько, что заделывая, приходилось одновременно обороняться от их же яростной ненависти.

И в войну, и до, и после – всегда – первыми гибли те, кого поражал страх. С людьми – понятно. Их страх – от неведения. Строго ограниченная задача, строго ограниченное знание. Когда твердо уверен в существовании границы, но не предполагаешь, что за ней – страшно. Но такие-то, как она, знали все доподлинно! И зачем здесь, и насколько, и что ждет. Чего бояться? Тем не менее, некоторые будто заглатывали внутрь дозу этой земной заразы. То ли чересчур очеловечивались, то ли... Уставали, как она сейчас? И чтобы поскорее вернуться, добровольно принимали этот яд. Как умудрялись? Страх не положен по статусу, исключен из

богатейшего арсенала информации, которым они снабжаются перед приходом. Страха нет, да. Но печаль и тоска разве лучше?

Глоток страха как яда, и все, ты – обычный смертный, вполне можешь уйти, то есть освободиться. Она тоже пыталась. Многократно. Благо, поводов в этой жизни – не счесть. Не вышло. Видно, прививка, которую получила дома, действовала безупречно.

Чтобы вернуться, она должна дойти до конца – наполнить собой новую душу, передать ей все то, что накопила сама. Чужому не передашь. Большая часть потеряется, сгинет, отторгнется как чужеродный, стало быть, опасный элемент. Новое в себе – подаренное ли, обретенное ли – нужно полюбить, чтобы принять. Случается и другое: полюбишь ты, но не полюбят тебя. А без любви развепустишь в себя иное?

Каждый приход готовится. Уход – тоже. Она, увы, так и не исполнила своего предназначения, не дали. Не рассчитав, вступила в схватку и – проиграла. Слишком неравны оказались силы. Поэтому последний срок – она усмехнулась пришедшей на ум фразе – положено не просто отмотать до конца, но оставить вместо себя душу, которая бы сделала то, что не удалось ей. Сегодня она твердо знала – чью.

Когда-то была надежда на дочь, но те, кто неусыпно их пас, не дремали, и дочь ушла в столбе черного пламени автокатастрофы. Саму ее тогда выбросило через лобовое стекло на обочину. Сначала дороги, потом – жизни. В реанимации собрали по кускам, научили ходить. Зачем? Поняла, когда прекратили вводить блокаторы, и вернулась способность мыслить: внучка. Юленька. Она – продолжение, она – замена.

* * *

Она знала про внучку все: как растет, чем занимается, что любит и что ненавидит, ее привычки, характер. Юля же о существовании родной бабки не ведала. Так устроил отец.

Пока девочка находилась в Петербурге, отцу, воспитателям, учителям нетрудно внушали мысли, как вести себя с ребенком, что показать, о чем рассказать, от чего предостеречь или наоборот – куда направить. К пятнадцати годам внучка понимала про город если не все, то очень многое, по крайней мере, больше, чем большинство взрослых.

Как и должно, Юля естественным образом становилась частичкой города, ее душа верно и преданно сливалась с его душой. Оторвать одно от другого теперь удалось бы, лишь выдрав с мясом и кровью, но именно в это время бывший зять засобирался в Москву, решив, что накопил достаточно сил для столичного плавания.

Воздействию он не поддавался. Его словно бы облили водой на стоградусном морозе, да так и заморозили: под гладким непроницаемым ледяным панцирем гуляла абсолютная пустота, попытки проникнуть внутрь скатывались с отполированной глыбы горохом, не задерживаясь ни на мгновение.

Она пыталась снова и снова, пока не поняла: мужчина живет в единственном «сейчас», причем «сейчас» не в ее понимании, когда все времена – одно, а в смысле сугубо человеческом, где «сейчас» – это восемь утра или семь вечера строго конкретного дня строго конкретного года, обозначенного в календаре совершенно определенной цифрой. У Юлиного отца будто бы не было ни корней, ни листьев, ни прошлого, ни будущего. Полено, чтоб сжечь, получив толику тепла и горстку золы на выходе. Но даже зола представлялась ненастоящей, синтетической: удобрить ею яблоню или вишню никому не пришло бы в голову.

Честно говоря, он и раньше был пустоват, будто опорожненная консервная жестянка, но как и любому живущему ему предоставили шанс – жена и дочь. Не воспользовался. Победило животное стремление любыми путями оказаться наверху, властвовать и повелевать. Чем выше поднимался, тем больше пустел.

Пустота алчна. Ее главное свойство – заглотить все сущее и переварить в пустоту.

Конечно, стать таким ему помогли. Это тоже стало их победой и ее проигрышем. Внучку они не имели права трогать. Пока. Поэтому счет земного времени шел галопом.

Два года назад его призвал Сам. В Москву. В свиту. Об отказе, несмотря на слезы и мольбы дочери, не помышлялось.

– Нет! – билась в истерике девочка. – Не хочу уезжать!

– Да, – маслянились жестким самодовольством его глаза. – От таких предложений не отказываются. Закончишь школу – вернешься, если захочешь. Думаю, не захочешь. Ты же моя дочь.

Внучку увезли. Ей же осталось довольствоваться тем, что имела от природы – интуицией, предвидением, предчувствием, которые в сумме давали знание.

Юлино настроение она читала в запахе ветра, прилетевшего с московских улиц, улыбки девочки грели ее вялые щеки солнечными лучами, внучкины обиды и слезы протестующе колотились в брусчатку набережной, заплетаясь вокруг слабеющих ног толстым, как детские косицы, дождем.

Иногда силою ума и воли она позволяла себе оказаться рядом с Юлей – прикоснуться к мягким, как у дочери, светло-пепельным завиткам надо лбом, прижаться губами к горячему беззащитному затылку. И в этот момент тоскливого прощального счастья она особенно чувствовала, как не хватает ответа – тепла, близости, приязни, что случаются лишь меж родными по крови людьми, пусть отдалившимися, пусть почти незнакомыми. Впервые среди многих жизней захотелось услышать забавное и теплое – «бабуля».

Все свое умение, все свои возможности она приложила к тому, чтобы Юля вернулась в Петербург. Ждать долее было нельзя. Время уходило, и эта жизнь, случившаяся не в пример длиннее прежних, заканчивалась.

Домой! Скоро домой!

Моментами осознания этой истины тело захлестывал восторг, разрастающийся до размеров Вселенной, наполненный цветом и светом, превращающий все сущее в сплошную, мерцающую счастьем радугу. Презрев все условности, хотелось подстегнуть время и немедленно оказаться рядом с внучкой, чтоб исполнить долг и уйти, опустошенной и счастливой. Хотелось до большого звона в голове, до дрожи в натянутых плечах.

Увы, это было невозможно. Время должно прийти само, как и обстоятельства должны сложиться сами. Все, что позволено, – подсказать и направить.

* * *

Был нюанс, который тревожил: в момент встречи внучке полагалось выделить ее из всех прочих, узнать и сделать первый шаг. Это означало добровольное согласие одной души стать продолжением другой. Узнает ли? Насколько сильно в ней – не задавлено ли, не зацементировано – то главное, что есть в каждом, но прорастает лишь в единицах?

Конечно, проще всего заглянуть в пока сокрытый, но уже назначенный, существующий, день их встречи. Нельзя. Может, не получится совладать с собой: душа потянется к внучке, требуя немедленного ответа, как признания. А девочка, уловив этот зов, шагнет навстречу, не понимая, к кому и зачем. Из любопытства, из праздного интереса, как тянутся дети глазами и руками к невиданному животному или растению. Глазами, руками, но не душой. Пусть все случится как предопределено.

В момент встречи внучка должна увидеть то, что не откроется никому другому. Или не увидеть. И тогда – вся ее последняя долгая никчемная жизнь – пустота и прах.

* * *

Внучка разглядела крыло Деки!

Сразу, с первого взгляда!

Конечно, не поверила. Конечно, сочла за галлюцинацию. И что? Главное – увидела! Одна-единственная среди сотен, шатающихся в это время по набережной. Значит, все получится?

Должно.

* * *

С того дня прошел почти месяц. И она, радуясь и готовясь, не только ни разу не вмешалась в жизнь внучки, но даже запретила думать о ней, чтобы не спугнуть, не помешать укорениться новым росткам.

Сознательно отпустила девочку, давая возможность досыта напиться городом, вдохнуть в себя его жизнь, завязать ослабевшие корешки. А вчерашней ночью стало ясно: сила, которая дремала в Юле, начала прорастать быстро и мощно, почти неуправляемо. Девочка не справляется, не понимает, что с ней происходит, и так, не понимая, может погибнуть, не совладав.

Место, где живет девочка – средоточие странной и страшной мощи – само по себе способно пробудить многое, но не так скоро!

Что-то упущено? Она чего-то не учла?

Чего?

Рома... Им полны внучкины голова и сердце. Он интересуется Юлю больше, чем родная бабка, город, будущее – все, что сейчас дают ей познать. И Юлина душа, вот что страшно, вполне признав ее, родную кровь, все же тоскует не по ней, а по чужому Роме...

Проморгала, старая дура? Или это...

То единственное, ради чего только и стоит покидать дом...

– Пусти холодную воду, – проворчал из-за закрытой двери Дека. – Жарко. И принеси льда, задыхаюсь... Зову тебя, зову. Оглохла, что ли?

Дневник Романа, 05 июля

Меня нашла Юлька. Сама пришла. И я вместо того, чтоб ее выгнать... Короче. Она оказалась девочкой!!!! А я – окончательный придурок. Кажется, я влюбился. Засада! Сижусь сейчас как дурак, рот до ушей. Четыре утра. Она дома, наверно, спит. Обещала прийти часов в одиннадцать. Пойдем на Тифлисскую. Реставраторы открыли Юльке большой секрет. Кажется, они нарыли остатки подлинного фасада Трезини. Не очень верится, откуда? А ведь меня предупреждал ТОТ мужик!

Последний раз следы Трезини нашли в восемьдесят восьмом – год моего рождения, запомнил. В Эрмитажном театре. На Ваське он много строил, но ничего не осталось. Не сказать, чтоб я фанател от Трезини. Но тут меня затрясло. И трясет до сих пор. От Трезини или от Юльки? Короче, я попал...

Ночь Красной Луны

Роман стоял на самом берегу Невы сразу за строем полицейских, отделяющих изысканное светское общество от рядовых горожан, и глазел на здоровенный трехмачтовый военный корабль. Кургузый модно-серый пиджачок узкие брюки, едва достигающие до штиблет, тщательно напояженный рыжий пробор – в толпе Рома был совершенно своим.

Юля крепко взяла его под руку и огляделась.

Поглядеть было на что. Кусок набережной против Литейной части кишмя кишит народом. У береговой линии покачиваются несколько вместительных лодок, украшенных разноцветными флагами и бумажными цветами. К причальной стенке прижался громадный парусник с высоченными деревянными мачтами, сплошь утыканными по верхним реям Андреевскими и Императорскими флагами. Поверх носа корабля с берега прямо в Неву тянется изогнутый деревянный мостик, переходящий над водой в широкий помост. На нем – сплошь государственные чины, важные, осанистые, в центре священник в праздничном убранстве – только что закончилось праздничное освящение закладки Литейного моста.

– Государь император! – слышится восторженный женский шепот. – Гля-кошь, красавчик какой! Усами, небось, в постели защекотать может!

– Тыфу на те, шалава, – грубо обрывает скабресный восторг мужской бас. – В бутылку захотела? Там, сказывают, каземат освободился.

У борта корабля, ожидая Александра Второго, толпились военные. Сплошь офицеры, сплошь стройные, подтянутые, в элегантных мундирах с перекрестьем праздничных лент – белых и голубых, с изящными шпагами на правом бедре. Среди мундиров просматривались несколько черных фраков и черных же ряс.

Чуть в отдалении за новехонькой деревянной выгородкой приподнятого от земли помоста теснились на ярко-бордовых мягких стульях элегантные дамы. Высокие прически, крошечные шляпки с вуалетками, почти у каждой – бинокль. За спинками стульев кавалеры в долгополых сюртуках отгоняют от красавиц веерами жару предпоследнего августовского дня.

Прошествовал император, вспенилась восторгом обожания радостная толпа, просыпался с красных стульев кокетливый дождик воздушных поцелуев, галочьей стаей взлетели вверх и тут же опустились цилиндры, шляпы, картузы.

– Пойдем в Летний сад, погуляем? – попыталась Юля отвлечь Романа от восторженного созерцания военного корабля.

Огромный, трехмачтовый, тоже украшенный флагами, не в пример прочим, вполне строго и официально безо всяких дурацких бумажных цветов, корабль стоял в заносчивом отдалении, демонстрируя собственную исключительность.

– Успеем, – не повернул головы Рома. – Какая броня! Лучший корабль всех времен и народов! Броненосный фрегат «Князь Пожарский». А нос! Любого врага протаранит как тухлое яйцо. Только что из ремонта. Вооружение поменяли, приборы новейшие поставили. Теперь все супостаты на окрошку пойдут! Ну что, Петька, – обернулся он к приятелю, черноголовому, широкоскулому с узкими, будто припухшими глазами, – куда двинем? Говорят, сегодня задарма наливают?

– Говорят, – кивнул узкоглазый. – Я уже разведал. Вон шатер, видишь? Там Палкин свою ресторацию вывез. Меню обеда вывешено: водка, суп «рен», консоме «итальян», пирожки разные, севрюга в рейнвене, филе «дэ беф Ришелье», соус из трюфелей, дичь, салаты, артишоки «Кольберг»... – парень жадно сглотнул.

– Неужто и бассейн со стерлядками прихватил? – не поверил Рома.

– Прихватил, – серьезно кивнул Петр. – Только не про нашу честь. Туда вход по билетам.

– А про нашу – что?

– Пиво в бочках с Калининской пивоварни прямо на улице, уже наливают. «Бава-рия» тоже чаны выставила. Сыр на тарелках разложен. С завода Гирса из Тихвина. Свежайший! – Петр мечтательно прижмурился. – Везет этому Гирсу: на заводе занято два человека, а выпускают 750 пудов сыра в год. И все до крошки – на поставки императорскому двору. Навек присосался!

– Не люблю сыр, – отмел Рома. – Вонюч больно. – Буженина есть? Федоров ресторан привез, не знаешь?

Рестораном Федорова именовался буфет во фруктовом магазине на Малой Садовой, где за десять копеек наливали стопку водки, да еще и давали закусить бутербродом с бужениной.

– А ты прошлый долг занес? – подозрительно справился Бадмаев.

– Ага! – хвастливо хохотнул Рома. – Кто эти долги помнит? Там один буфетчик на всю ораву, не уследит ни за что. Никогда не возвращаю, не обеднеют, небось.

– А я возвращаю, – спокойно ответил Петр. – Иначе – воровство. Правда, Юлия?

– Она туда не ходит, – пояснил Рома. – На улице ждет. Непьющая она.

– Петр, вы назначение уже получили? – спросила девушка, хорошо помня о том, что они с Бадмаевым – почти коллеги: она – студентка японского отделения Восточного факультета, а он только что окончил университет по китайско-монголо-маньчжурскому разряду.

– Да. Азиатский департамент Министерства иностранных дел. Уже приступил.

– А чего в студенческом наряде? – саданул его по плечу Ромка, – для маскировки? Чтоб никто не донес, что по пивным шляешься? Департамент у него! А фигли-мигли твои как же? Корешки-листочки? Травки-пузыречки?

– Роман, я тебя просил, – поморщился Петр. – Ничего не смыслишь в тибетской медицине – молчи, за умного сойдешь. Я, кстати, кое-что интересное для нас выяснил.

– Про клады? – загорелся Рома.

Петр важно кивнул.

– Вчера в концерт ходил, слушал Чайковского...

– Расскажите! – загорелась Юлия.

– Первый концерт для фортепиано с оркестром. Прорыв в музыке! Чрезвычайно сложное произведение, но какая мощь! Должен был исполнять Рубинштейн – отказался. Сдрейфил, что не вытянет. Танеев играл. Блестяще!

– Как я вам завидую, Петр, – вздохнула Юлия. – Я об этом даже не слышала. Но у меня тоже был праздник. Я в клубе художников «Барышню-крестьянку» слушала. Чудесная опера! Ларионова, автора, публика несколько раз вызывала!

– Может, хватит? – прервал их Рома. – Я эту вашу музыку-оперу терпеть ненавижу. Про клады начал, вот и излагай.

– Я же говорю, ходил в концерт с товарищем по департаменту, встретил там помощника управляющего из «Европейской», он по секрету и шепнул, что в гостинице во время ремонта клад спрятали.

– Зачем? Чухня полная. Раз служащие знают, сами тот клад и найдут. А то и нашли уже.

– Не скажи. Там номеров – тыща. В котором искать? Заново все перестраивать?

– А ты как узнаешь? Колдовать станешь?

– Вы умеете? – заинтересовалась Юлия. – Расскажите!

– Молчи, дура, – перебил Ромка. – Услыхала и забудь. Зря что ли Петька всяким хитро-стям обучался? Он травок своих нажрется, в прошлое заглянуть может. Помнишь, я хотел в Каткином саду под памятником клад искать? Слухи ходили, что три года назад, когда кот-

лован закладывали, целую яму драгоценностей набросали. Типа, одна фря перстенок с руки сбросила, а за ней – все остальные. Потом на этом кладе памятник и поставили. А Петька в прошлое-то заглянул и выяснил – брехня. Никакого клада нет. Пусто под Катькой.

– Не может быть, – ахнула девушка. – Так это вы Ромку отговорили подкоп делать? А в будущее заглянуть можете? Например, узнать, что через год будет? А через пять?

– И так ясно, – ухмыльнулся Роман. – Мост тут встанет. Великанище! Аккурат лет через пять и построят.

– Да я не про то! С нами что будет? Интересно же!

– Вообще-то это запрещено, – серьезно ответил Бадмаев. – Читать будущее могут только избранные.

– Ты, значит, не избранный? – хихикнул Роман. – В поле обсевок? А говорил: все могу, волшебные сборы заваривать умею. Трепло!

– Рома! – укорила Юля.

– Сам трепло, – спокойно ответил Петр. – Я определенно знаю, что мост тут вообще строить нельзя.

– Почему это? – взвился Роман. – Струве, между прочим, военный инженер, в мостах-то получше твоего разбирается. Вон какой конкурс выдержал! Семнадцать иностранных проектов поборо.

– Я не об том, – Бадмаев пристально разглядывал тяжелую невскую воду. – Проект может быть безупречен, место не то.

– Здравствуй! Чем тебе место не угодило? – ехидно справился Роман. – Литейная часть – лучшая в городе, все признают. После Невского – первая по красоте и благоустройству, глянь, вокруг одни дворцы, почитай не одной деревяшки не осталось, сплошь камень, на века. Где ж мост строить, как не тут? Да и старую наплавную переправу здесь же наводили.

– Наводили, – кивнул Бадмаев. – А ледоход ее смыл, будто и не стояла никогда. И до того мосты смывало. Про мост-оборотень слышал? Тут стоял, на этом самом месте. Короче, опасно тут переправу ладить. Много крови Нева заберет.

– Ты говори, да не заговаривайся! – прикрикнул Роман. – А то с такими пророками нам рабочих не набрать будет. Пошли лучше разговеемся!

Видно, за разговором они пропустили какое-то событие, потому что вдруг народ на берегу дружно зашевелился и разом тронулся от воды. Троица мгновенно оказалась облепленной плотной чешуей веселых людей, и буквально через секунду Юлю вынесло наискось, метров за десять от того места, где они только что стояли. Оглянулась, пытаясь уловить в человеческой массе любимую рыжую голову и тут же, подхваченная новым потоком, оказалась еще дальше.

* * *

Она не то чтобы испугалась – удивилась: все вокруг разом посерело и отдалилось – вода, корабли, люди, а следом и исчезло, словно истаяло в сумерках. Собственная голова ощущалась пустой, будто вскрытый арбуз с выеденной мякотью, тело же наоборот – наполненным светящимся воздухом и совершенно прозрачным.

Прямо сквозь Юлю проходили косые дождевые капли и неопрятные косматенькие тучки, просверкивали звездочки, просыпающиеся из редких небесных дырок, не задерживаясь ни единым остреньким лучиком. Девушка встряхнула головой, прогоняя наваждение, и немедленно оказалась у знакомого окна. Вцепилась в портьеру, потому как неуправляемые ноги напрочь отказывались держать прозрачные, надутые как праздничные воздушные шарики руки, туловище и голову. Выглянула наружу, пытаясь сообразить, куда делись Рома с Бадмаевым.

Под розовым лучом парящего над водой конуса прямо посередине Невы стоял черный человек. Шоколадно-серый морок покорно, даже подобострастно обтекал фигуру, не задерживаясь на ней крошечным отблеском или тенью. Ясно: никакой это не человек, а умело вырезанный силуэт – пустота среди колыхающейся бумаги. Жуткая черная дыра, внутри которой боится заглядывать даже туман.

От ужаса Юля клацнула зубами, больно прикусив язык, шепнула, с трудом вспомнив слово – «мамочки», зажмурилась, а когда открыла глаза, обнаружила, что черный человек заметно сдвинулся к берегу, став еще больше и страшнее, и манит ее пальцем.

Ее?! А кого еще?..

От черного пальца прямо к окну будто протянулась леска с крючком – ни спрятаться, ни сбежать. Повинуясь безусловному приказу, Юля кивнула, сделала шаг в окно и тут же поняла: это ж Петька Бадмаев! А она, дура, испугалась! Чего только не привидится в темноте.

– Пойдем! – Губы у Петьки плотно сжаты, скулы втянулись, на голове какие-то белые букли, костюм нарядный, словно из исторического кино, поблескивает, будто парча переливается или камушки какие нашиты.

– Ты чего как на маскарад? – поразила Юля. И тут же поняла: – Решил Брюсом представиться? – и зашла от стыда и стеснения, потому что сообразила: никакой это не Петька, а самый настоящий Брюс.

– Простите, Яков Вилимович... Я не узнала, решила, что вы – это...

– Правильно решила. К делу. Хочешь узнать будущее?

– Да, но... – Юля растерялась, – это тогда было будущее, а сейчас, когда я тут, это совсем даже прошлое... – она запуталась, не умея объяснить и по-прежнему сильно тушуясь.

– Уверена, что можешь отличить? – высокомерно произнес Брюс. – Похвально. Я так и не научился.

* * *

Сентябрьский ветер взметывал с утоптанной земли острую пыль, трепал чью-то волглую рубаху, зацепленную проволокой за оглоблю лошади, жующей овес. День выдался не по-осеннему жарким, и четверо мужиков, раздетые по пояс, ухая и кряхтя, тащили от телеги к берегу последнее бревно.

На мощном помосте, уходящем в Неву, страдальчески подвывал какой-то механизм типа огромного коромысла: верхний конец торчал почти вертикально вверх, нижний уходил в реку. Рядом шумно отфыркивалась громадная помпа, нагнетающая воздух куда-то вниз, под воду. Почти у самой Невы чернел громадный металлический короб с частой клепкой по узловатым ребрам.

Мужики дотащили бревно, уложили на ровный ряд подобных.

– Однако кессонщики сегодня долго работают, – цыкнул один, присаживаясь.

– Так им же по времени платят, вот и стараются, – пояснил второй.

– Чижолый труд, – качнул головой первый. – Опасный. Я бы ни за что вглубь не полез. Страшно подумать: восемь саженей вниз! Вона, сосна растет. Есть в ней столько?

– Нету, – уверил второй, – саженей пять, не боле. А до верхушки и камнем не докинуть.

– То-то. А тут – вниз. До самого пекла, поди, достают. Надо спросить, не жарко им там?

– Жарко! – хохотнул третий. – Видал, какими вылезают? Чумазые, потные, будто с бани! Печет из преисподней-то!

– Ох, недоброе это дело, – сплюнул четвертый. – Там, на дне, бают, плывун, а под ним... – он снизил голос до шепота, словно то, что говорил, можно произносить только,

таясь, прикрыв губы ладонью, не дай Господь, неловкое слово выпорхнет на свободу и обернется страшной явью.

Остальные, выслушав, обернулись к сияющему шпилю Петропавловского собора, размашисто и истово перекрестились, помрачнели, покивали, и разговор сам по себе оборвался.

– Эй, девка, – крикнул один из них Юле, – попить принеси, видишь, умаялись.

Юля метнулась влево и наверх, точно зная, что там стоят бочки с водой для рабочих. Схватила деревянную бадейку, сунулась внутрь широкозадой емкости. Ведро гулко шваркнулось о стенки, потом о дно – бочка оказалась пустой.

– Туда беги, – показала на дальние штабеля бревен перепоясанная пенькой молодка. – Тута еще давно все выглохтали. Жара. А тама недавно привезли.

* * *

Юля помчалась. Но как это часто бывает во сне, шаги вдруг сделались невероятно длинными, тело – невесомым. Вроде и отскакивала от земли, словно мяч, едва касаясь, практически летела, а дальняя бочка никак не становилась ближе, наоборот – удалялась, сливаясь то с берегом, то с водой, а то вообще скрываясь с глаз. Юля удлинила прыжки, зависая над кучами камней, горами бревен, просмоленными бухтами канатов, серьезной рекой, вытянувшимися червяками мастерских, гладкой, как обструганная плашка, Литейной Перспективой, все пыталась высмотреть бочку, да только тут поняла, что несется-то совсем в другую сторону, и мужики сильно ее заругают. Задержалась рукой за конек каменного дворца, развернулась и бросилась обратно. Не рассчитав скорость, перелетела береговую линию и оказалась над странным мостом. Она могла поклясться: только что никакого моста тут не было! А теперь висит ровно посередине Невы, не соединяя берегов...

Под центром моста – вода легко просматривалась сквозь прозрачные горбыли – сгустилась темнота и смоляное горячее варево будто кипело молниями, фукая громадными переливчатыми пузырями. Время от времени пузыри лопались, на их месте возникали юркие глубокие воронки. Вот множество маленьких воронок, как по команде, сошлись в одну, общими усилиями крутанули ее, образуя невиданной глубины – до самого невского дна, а то и сквозь него – маслянистую, дрожащую от нетерпения дыру. И тут же темное небо выплюнуло сгусток свежей крови, обратившийся в жадную луну. Луна плеснула в черную яму красного света, сделав водоворот еще более глубоким и жутким, а дальше началось и вовсе невероятное.

Крутящееся жерло сузилось, будто сложило губы трубочкой, и стало засасывать воздух. Вместе со звездами. Они срывались с неба, выстраиваясь в покорную цепочку, и одна за другой ныряли в воду, бесследно растворяясь в красной мути. За звездами в бездну так же послушно потянулись лошади с повозками, дома, бревна, дороги, люди...

Когда на небе не осталось ни одной звезды, а в мире – ни одного живого существа, лишь голая немая тьма, в разверстую дыру медленно спланировала красная луна, покачалась на воде и, снова превратившись в кровавый плевок, без звука пошла вниз, таща за собой хвост из багровых пузырей.

Следующая очередь – моя, – поняла Юля, – потому что больше ничего и никого не осталось!

Изо всех сил оттолкнулась носками от перил моста и прыгнула на берег. Уже почти достигнув спасительной тверди, боковым зрением увидела, как странный мост окутался грязно-кирпичным туманом, сам превратился в туман и тоже втянулся в черную бездну.

* * *

Наконец она очутилась рядом с полной бочкой, зачерпнула воды и понеслась назад, к плотникам, стараясь не расплескать тяжелую бадейку.

Мужиков на бревнах не оказалось, зато у самой кромки полукругом стояла изрядная толпа, понуро и молчаливо разглядывая что-то на земле. Чуть поодаль истекал серыми гнойными нарывами мокрый железный короб – кессон. Видно, только что подняли со дна.

Как и все вокруг, Юля знала, что в этих страшных ящиках на самом дне рабочие ставят опоры нового моста. Воздух подают с берега той самой помпой, что дышит как чахоточный великан. Внутри кессона мужики вынимают грунт, крепят камни. Иначе – никак – глубоко, вода быстрая, дно гуляет, вот и придумали эти кессоны. Чисто – гробы, даром что железные. Каждый раз, когда рабочие идут в кессон, кресты целуют и с белым светом прощаются: не ведают, вернутся ли.

В толпе, мертво застывшей, будто замороженной, вдруг возник странный звук, похожий и на всхлип умирающего зверя, и на сип уставшего рыдать младенца. Звук вырвался из-за спин, повибрировал над головами и ухнул вниз, наземь, мгновенно налившись горем и превратившись в истошный бабий вопль.

– Что случилось? – толкнул Юлю в бок подбежавший из мастерских мужик.

– Что-то, – проворчал вместо нее, не оборачиваясь, лишь чуть сдвинувшись в сторону, один из стоящих. – Не видишь, что ли?

На земле лежали пять тел. То, что это именно мертвые тела, а уже не живые люди, было видно по неловко запрокинутым головам и жуткой неподвижности костенеющих конечностей.

– Кессонщики? – выдохнули сзади.

– Они, – кивнул мужик. – Грунт в кессон ворвался, вот и...

– Выжил кто?

– Куды там. Из двадцати восьми человек только пять и подняли. Остальных Нева приняла.

– Правильно старики говорили, нельзя тут строить, – сплюнул давешний плотник. – Мост-оборотень здесь стоял, а на дне...

Юля уже не слушала. Растолкала крепкие спины, упала на колени перед лежащими телами.

– Муж в кессоне был? – спросил кто-то.

Она не ответила. Переходила от тела к телу, вглядываясь в обезображенные водой и удушьем вспученные фиолетовые лица. Первое, второе, пятое...

– А где Роман? – беспомощно обернулась она к толпе. И объясняюще заторопилась: – Он – инженер, сегодня первый раз опускался, хотел сам посмотреть...

– Земля пухом, – перекрестился пожилой мастеровой.

– Какая земля? – взвилась рыдающая растрепанная баба. – Откуда там земля? Утянуло наших кормильцев в самую преисподнюю, и могилку не найти, и батюшка не отпоет... – снова взыв, она ткнулась головой в землю и заскребла ее, утопанную и сухую, ногтями, будто хотела прорыть ход вглубь, под реку, в иные миры, так безвременно и страшно отобравшие у нее кормильца.

– Рома, – совершенно не веря в произошедшее, качала головой Юля, – где он? Где те, кто выжил?

– Никто не выжил, девонька, – обнял ее мастеровой. – Поплачь, покричи, все легче будет.

– Рома... – снова шепнула Юля и, тут же без паузы, закричала хрипло и громко, не своим – чужим и страшным голосом: – Роома!

Сама перепугалась собственного крика, аж простыня взмокла от мгновенного пота, обжегшего тело ледяными искрами.

* * *

Ночь в окне, лунная морось, тишина.

Приснится же такое!

И тут же накрыло колючей тоской, поволокло по острым камням только что пережитого горя: не сон то был, не сон! Все уже произошло. Или произойдет? Или происходит прямо сейчас? Как понять, как разобраться? Одна – там, тут, – везде. Пылинка, которую подхватил ветер. Не сильный, так себе ветерок, ей и такого хватит. Подхватил и понес из прошлого через будущее в настоящее. Или наоборот. Маршрут значения не имеет. Он неважен, потому что непредсказуем. Потому что все – едино, а ума, чтоб разобраться и понять, – не хватает. И подсказать некому, и спросить не у кого.

Она никуда не выходила из дома, значит, все происходило здесь? В этой крошечной точке огромного мира?

Все та же ночь, луна на том же месте, будто пришпилена кнопкой, стало быть, времени прошло чуть – секунда, миг? И в этот миг вместились века. Так бывает?

И Рома. Она опять его потеряла, едва найдя. Так будет всегда? Находить, терять и снова терять? Должна же быть точка, где они – вместе? Надо ее отыскать. И в ней остаться.

Камень Атакан, Брюс, кессоны, мост-оборотень.

А Литейный, вот он, все еще разведен. Под ним – Атакан...

Когда была совсем маленькой, тут затонул большой корабль. Отец говорил – беспричинно. С няней ходили смотреть, как пароход спасали... Мост тогда перекрыли, и люди гуляли по нему, не опасаясь машин. Какая-то женщина – вдруг вспомнилось ясно-ясно, словно вчера – крестясь и шепча, налила в стакан из зеленой бутылки что-то красное и опрокинула в Неву. «Зачем?» – спросила Юля у няни. Та схватила за руку и потащила подальше от странной тетки. Да так спешно, что девочка запнулась и упала, разодрав коленку. Кровь, капающая в пыль, была точь-в-точь как то, что выплеснулось в реку.

* * *

«Строительство Литейного моста, прозванного в народе „суровый великан“, сопровождалось многочисленными трагедиями. Вечером 16 сентября 1876 года полужидкий грунт ворвался в кессон, где работали двадцать восемь человек. Многие были погребены заживо. Пятерых удалось поднять на поверхность мертвыми. Через год после этой трагедии, так же вечером, в сентябре, раздался взрыв. Причину установить не удалось. Девять рабочих погибли сразу, остальные оказались погребенными в кессоне. Современники тех событий утверждали, что при строительстве опор Литейного моста погибло более 100 человек».

Историческая хроника Санкт-Петербурга.

«Это – четвертый случай самоубийства утоплением за год. Жители показывают, что после того, как самоубийца прыгает с моста, окрест слышен громкий хохот. То радуется ведьма, которую в прошлый мост замуровали по

приказу Бирона. Еще жители жалуются, что по ночам из-под моста вылезит всякая нечисть, поганые рожи корчит, да срамные слова кричит...»

Из рапорта околоточного надзирателя. Полицейский архив Санкт-Петербурга, 1891 г.

«Во время блокады больше всего досталось Литейному мосту. Его, единственный, фашисты методично обстреливали каждый день. За это ленинградцы прозвали Литейный мост „Чертовым“...»

Историческая хроника Санкт-Петербурга.

Дневник Романа, 07 июля

Трезини! Я трогал руками те самые камни, руст. Выпуклые, шершавые. Не знаю, что со мной происходило – они как бы со мной разговаривали и били током. Росси сберег фасад Трезини! Упрятал под несколько слоев краски и штукатурки. Не решился тронуть работу великого учителя. Реставраторы – классные мужики. Когда узнали, что я через две недели приду к ним на практику, дали инструмент и разрешили немного поскоблить. И я! Я! Выявил угол пилястра! Это точно пилястр! С одной стороны правильная грань, другая ушла в стену. Я заорал как сумасшедший, все сбежались. Подтвердили – пилястр. Попросили пока молчать. Боятся сглазить. Обязательно пойдем завтра с Юлькой.

Когда уходили, я оглянулся. У стены, где я расчистил угол пилястра, стоял ТОТ самый мужик. Мы встретились глазами, он снял шляпу и помахал.

Я его узнал. Трезини. Глюк, конечно, но это точно он.

Всадник тумана

Туман. Невского полотна не видно. Плотные клочья грязной ваты ерзают меж гранита, как космы туч на небе в пасмурный день. Что под ними – вода ли, бездна ли, проход ли в иные миры – не понять. Плеска воды не слышно. Туман. Не только в воздухе. Растопырился в ушах мокрыми заглушками, вытеснил звуки.

Английская набережная щерится из желтогубого рта тремя розоватыми больными зубами домов. Ни серо-голубого особняка с лепными наличниками, ни желто-зеленого дворца с белоснежным жабо колоннады, ни шоколадно-кремового щеголя с тонким перепояском балконов не видно вовсе: заглотил ненасытный туман.

Золотую шапку Исаакия будто срубили одним махом вместе с головой, и теперь он похож на раскорячившийся громадный сарай без крыши, окон и дверей.

Туман равнодушен и аполитичен. Отлакированный сенат начисто лишился электрических брильянтов, и его намакияженный фасад смущенно задвинулся в тень, утерав помпезность и значительность.

Туман, вот настоящий хозяин города! Повелитель страхов и сомнений, властитель вечных болот, до времени затаившихся под асфальтом, гранитом, брусчаткой. Захочет – явит взору своевольный изгиб набережной или дырчатый блин мостовой, не захочет – никто ничего не увидит. Не поймет, как тут оказался, куда забрел, где выход... И есть ли он в этом желтом липучем вареве из неуверенности, тревоги и страха.

Над самой Невой, вернее, там, где она угадывается, вздыбился, удерживаемый невероятным усилием всадника, мощный конь. Скакал во весь опор, ничего не различая в тумане, стремясь поскорее вырваться из его морочных пут, да в последнем прыжке вдруг почуял: рухнет сейчас вместе с ездоком в черную прорву воды и сгинет в ней навсегда, безвозвратно. Спohватился, заржал дико, длинно, надсадно. Раздвинулись, засуетившись, ватные клочья, углядел беду всадник, рванул коня под уздцы, вздыбил, удерживая над бездной, так и застыли оба – на века.

Туман обтекает их снизу, цепляясь за копыта коня, нахлобучивается косматым треухом сверху на гриву, перекрывая всаднику обзор. Отогнать бы рукой мокрые хвосты, очистить пространство глазам, вдохнуть чистого воздуха. Да как? Коня не отпустишь...

– Рома, а ты смог бы изваять такого же Медного всадника?

– Зачем? Он уже есть.

– Ну не конкретно этого, а что-то такое же гениальное...

– Конечно. Сомневаешься? Кстати, он не медный, бронзовый. Медным его Пушкин окрестил.

– Знаю. Его еще и «Всадником апокалипсиса» обзывали, и «Антихристом на коне».

– Эрудицию демонстрируешь? При чем тут это?

– Притом. Медь по астрологии – металл Венеры, а второе имя Венеры – Люцифер. Поэтому Пушкин его и назвал – Медный всадник.

– Юлька, – Рома останавливается, изумленный, – откуда такие сведения?

– Откуда? – девушка тоже ошарашенно застывает. – Не знаю... Ты спросил, а у меня ответа нет. Что-то странное со мной происходит: вдруг вспоминаю то, чего никогда не знала. Как книгу кто открывает на нужной странице, а я просто читаю. У тебя так бывает?

– Только после грибов.

– Каких грибов?

– Псилоцибидных.

– Что это такое?

– Темнота! Галлюциногены. Хоть про это слышала?

– Ты же говорил, что не употребляешь наркотиков!

– Это не наркотики. Народное средство. Шаманы им пользуются, чтоб в тайны прошлого и будущего проникнуть. Кстати, Питер – одно из немногих мест, где такие грибочки плодятся. В Москве твоей есть? Нету. А у нас – сколько хочешь. Природа постаралась, чтобы мы в тайны мироздания проникали. Друг на даче насобирал, засушил особым образом, потом вытяжку сделал по науке.

– И что?

– То самое. Употребил, сколько положено, и жди.

– Чего?

– Изменения сознания.

– Это же опасно...

– Кто сказал? Лежишь и смотришь кино. По собственному выбору. Загадываешь, что хочешь оказаться в восемнадцатом веке...

– Почему в восемнадцатом?

– К примеру. Мы ж с Медного всадника разговор начали, а его когда открыли?

– К столетию царствования Петра, в 1782...

* * *

Туман опустился еще ниже и отсек у всадника голову. Теперь мощный торс заканчивался широкими плечами, каких Петр никогда не имел при жизни.

Вот ты какой, Всадник без головы, – поежилась от внезапной жути Юля. – А в кино совсем по-другому. Интересно, Майн Рид сам это видел или рассказал кто?

* * *

– Как мы этот пожар готовили! Вроде все учли! А про человеческий фактор забыли.

Ромин голос доносится снизу от самой земли и звучит странно – скрипуче и глухо. Сам Рома – Юля едва находит его глазами среди мути желтых хлопьев – резко уменьшился в росте, будто врос в мостовую, скрючился и напоминает теперь жалкого ветхого старикашку с непропорционально большой бородатой головой и свисающими до щиколоток руками-кляшнями. Это неожиданное превращение Юлю ничуть не удивляет – туман. Он коверкает и морочит, делая из красавцев уродов и наоборот. Дурачит чехардой света и теней, выставляет белое черным, оборачивает любовь отвращением, а ненависть – страстью. Она это знает. И ни за что не поддастся обольщению.

– Ты про какой пожар говоришь?

– Да про тот, когда Всадник головы лишился...

* * *

Языки яркого пламени видели даже рабочие на нижней Глухой протоке.

– Пожар! – прокатилось по сонной Кривуше.

Взбаламученная криком илистая вода понесла тревогу влево и вправо, выплеснула в Мойку, докатила до верхней Глухой протоки, взбередила Фонтанную. Работы на Екатерининском канале встали.

– Чего горит?

– Вроде Зимний дворец.

– Какой дворец, его ж по досочке разобрали! Такую красоту споганили!

Временный деревянный Зимний дворец, построенный Растрелли для Елизаветы Петровны, и впрямь был разобран несколько лет назад. Екатерина, вступив на трон, не хотела памяти о месте, где приносил присягу гвардии ее царственный супруг, наследник российского престола Петр III. Именно по досочке и по бревнышку уничтожили роскошное творение великого итальянца.

Расколошматили вальсяжно вытянутую вдоль Невского анфиладу парадных апартаментов, карточным домиком развалили Эрмитаж, очистили набережную Мойки от жилых и присутственных помещений, скомкали чудный театр, не пощадив ни сцены, ни подсобок. Обратили в прах великолепные наборные паркетные, посшибали со стен изысканную позолоченную и посеребренную резьбу, раскололи расписные светильники, растащили зеркала, сорвали и погнули серебряные канделябры...

Из ста пятидесяти пяти помещений дворца, роскошных, изысканных, поражающих великолепием и богатством, оставили лишь тронный зал, задвинутый еще при строительстве вглубь от Невского и Мойки, да часть громадной кухни. Кухню-то и отдали под мастерскую скульптору Фальконе, который по заказу императрицы ваял памятник основателю города.

Из всего разрушенного дворца об одном лишь местечке горевала великая императрица – узком высоком окошке на Першпективу. Из него, томясь в скуке и неопределенности, увидала она однажды в противоположном окне красавца офицера. Молчаливые переглядки стали повторяться ежедневно, превратившись сначала в привычку, а следом – в смысл жизни. Имя – Григорий, Гришенька – узнала позже. Когда же фамилию услышала – истинно петербургскую – Орлов, поняла: судьба...

– Говорю, дворец полыхает! Аккурат, где литейню организовали.

Господи, там же Рома! – подобрал юбку, Юля метнулась в сторону Першпективы.

Рома! Рома! – кричит страх в голове.

Пожар – пожар-пожар, – выстукивают по мостовой легкие каблучки. Пришпиленная к темечку модная шляпка надула легкий парус вуальки, Юля сорвала ее с головы, швырнула через каменные перила Казанского моста, помчалась дальше.

Знаменитый скульптор Этьен Фальконе недавно согласился взять Рому в ученики, и теперь любимый пропадал в мастерской сутками, рассказывая во время редких встреч, как ему повезло, как многому научился и как гордится доверием мастера.

Статуя Петра, замысленная Фальконе, представлялась чем-то совершенно невообразимым.

– Масса – пятьдесят тонн! – горят глаза у Ромы. – Высота – пять с половиной метров! Громадина! Никто никогда ничего подобного не отливал!

– Как же такую сделать-то? – ужасается Юля. – Неужто сможете?

– Сможем! – уверяет Роман. – Мастер придумал уменьшить толщину стенок, чтоб массу облегчить. Гений!

– Зачем? – не понимает Юля.

– Как зачем? Для устойчивости!

– Чем тяжесть больше, тем стоять лучше будет, разве нет? – Юле очень хочется вникнуть в тонкости важного дела, которым занят любимый.

– В том-то и гениальность Фальконе! Придумал отливать разные части памятника с разной толщиной стенок. – Рома тычет пальцем в бумагу с эскизом. – Голова, руки, ноги и одежда – самые легкие, туловище уже тяжелее, а стенки крупа коня в три раза толще. Памятник, видишь, какой сложный – конь вздыблен, Петр назад откинулся. Как равновесие сохранить? Смещаем центр тяжести к задним ногам лошади. Стоять будет как вкопанный!

Последний раз виделись позавчера. Пришел поздно вечером, едва на ногах держится, но довольный, аж с лица – свет. Сказал, что восковая модель готова, значит, на днях начнется отливка. И вот...

Юля несется по Перспективе, задыхаясь от страха и громко шепчет, почти выкрикивает: «Господи, спаси и помилуй». Вместе с ней к месту пожара несется изрядное количество зевак. Путаются под ногами! Некоторых она просто обгоняет, других, особо медлительных, грубо отталкивает с дороги – не до церемоний!

У зеленых перил Полицейского моста вдруг становится страшно. Со стороны генерал-полицмейстерского дома душно несет гарью, слышатся жуткие крики и железный стон ведер. Собравшись с духом, девушка шагает за угол и снова вливается в поток любопытствующих, спешащих к пожару.

Открытого огня уже нет. Да и сама мастерская вроде не сильно пострадала. Разве что боковые окна зияют черными выгоревшими ранами.

– Че случилось-то? – интересуется один из зевак.

– В плавильне печь перекалили, оно и полыхнуло.

– Хранцуза-то насмерть убило! Как шарахнет головешкой по башке!

– Не бреши! Живой хранцуз. Вона, в квартиру снесли, лекарь примчался. Ему только маненько разум отшибло, сознания лишился, а так целый.

– Внутри-то, поди, все сгорело подчистую?

– Кто ж его знает. Рабочие, как огонь пошел, порскнули кто куда, а хранцуз кинулся свой статуи защищать, спужался, что лишится статуя-то. Государыня наша на расправу крута, кабы самого в топку не кинула.

– Да не хранцуз статуи спас, он, как гроыхнуло, со страху свалился. Иноземец, что с него взять. Литейщик все спас. Огонь-то полыхает, а железо течет. Вытекет в землю, с чего статуи лепить? Так он руки ковшиком подставил, все железо в статуи и стекло.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.